

Евгений Шварц

Закон
сохранения
любви



Евгений Шишкин

Закон сохранения любви

«Автор»

2014

Шишкин Е. В.

Закон сохранения любви / Е. В. Шишкин — «Автор», 2014

Что бывает с молодой женщиной, которая первый раз в жизни выбирается из маленького городка в большой курортный центр, оставив дома мужа и дочь? Она радуется морю, солнцу, она открыта для новых знакомств; ей кружат голову молодое вино и обходительные мужчины... Среди всего этого праздника жизни на пути Марины оказывается человек, который пользуется ее неопытностью и провинциальной наивностью. Она не может противостоять мужской силе и наглости. Приятная поездка к морю оборачивается драмой. Но это лишь начало... Роман «Закон сохранения любви» – многоликий. Московский бизнесмен и влюбчивая провинциалка, жестокий солдат-наемник и «столичная львица», журналист и бродяга, миллионер и содержанка, – все они сыграют свою роль в судьбе главной героини. Эта книга о том, что значат в нашей жизни настоящие чувства.

© Шишкин Е. В., 2014

© Автор, 2014

Содержание

Часть первая	5
1	5
2	8
3	12
4	14
5	18
6	23
7	27
8	33
9	39
10	43
11	48
12	52
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Евгений Шишкин

Закон сохранения любви

Часть первая

1

Ночью город Никольск пронизывал шквальный ветер. Это был южный муссон, теплый и влажный, и потому диковинный для конца марта в здешних, почти приполярных, северных широтах. Ветер еще с вечера принимался за город: порывами ударял в лицо идущим встречь прохожим, заставляя их на миг задохнуться; с дребезжанием гнал наперегонки пустые пивные банки по парковой аллее; трепал и норовил отодрать афишу с театральной тумбы; сквозняками, как метлой, поднимал колкую пыль с обтаявшего асфальта на центральной площади и осыпал ею чугунное изваяние Маркса на облезлом каменном постаменте.

За полночь ветер навалился на город упруго – тугим, почти непрерывным потоком. Он уже не заигрывал и не шалил – безжалостно обламывал хилые ветки деревьев, а некоторые старые одряхлые деревья и вовсе повалил наземь; громыхал карнизами и кое-где сдирал с кровель плохо пришпиленные листовое железо и шифер; отчаянно кидался в лабиринты со скопищами типовых пятиэтажек, свистел, выл и даже пробирался в единственный в городе подземный переход – словно повсюду искал себе жертву.

Под крышей одного из домов не сдержала натиска ветра водосточная труба, резко завалилась набок и ударила в раму ближнего застекленного балкона. Стекло громко лопнуло – шумно, хрустко обвалилось вниз. Этот грохот, будто встряской, пробудил Марину. Она подняла голову. В тусклой синеве за окном, примаскированном шторами и тюлем, что-то ухало и гудело. Эти уханье и гуд отдались внутри Марины пугающим эхом. Она взглянула на Сергея – он спал на боку, отвернувшись к стене, его лица не было видно.

Марина попыталась вспомнить, что ей снилось до этого внезапного пробуждения. Сразу ничего не вспомнилось, а тут ветер опять чем-то прогрохотал за окном, и опять, словно вдогонку, послышался бой стекла – Марина вся съежилась, затем вскочила с постели. Скорее – в комнату к Ленке, вдруг у нее открыта форточка и ветер напугает или застудит дочку.

В детской, окно которой выходило на другую сторону дома, во двор, ветер казался смиреннее, шум его был отдален, безобиден, хотя на стене и на потолке в бледном отсвете уличного фонаря плескались тени от веток дворового тополя. У Марины появилось редкое для нее желание – перекреститься самой и перекрестить дочку, которая спала, по-видимому, крепко: посапывая и не сбив с себя одеяло. Но на Марине не было нательного креста, не примостилось нигде в уголке комнаты и никакой иконки. «Надо бы повесить. Ленка крещёная. Иконка и крестик где-то лежат. Найти надо. Теперь у всех висят, опять все стали верить», – мимоходом подумала она и вышла из комнаты.

Вернувшись в свою постель, Марина зажмурилась, взывая к себе сон, однако невольно, чутко вслушивалась в законные посвисты и скрежет и не могла отогнать разбуженную тревогу. «Удар по стеклу? Откуда это? Ах да! Ласточка! Она тоже ударилась в стекло. Тогда тоже была весна...»

Ласточка, гонимая то ли поиском пищи, то ли неведомой силой познания, черной молнией влетела в горницу через распахнутую створку окошка. Вскрикнув от неожиданности и, наверное, напугав птицу, Марина – девчужка-пятиклассница, бывшая дома одна, – и сама прижалась от страха к печке.

Ласточка, суетно облетев помещение, видать, поняла, что очутилась взаперти, – кинулась стремительно на свет, к окошку. Да не к тому окошку, в которое влетела, – к закрытому. «Туда лети, туда, рядышком», – нашептывала Марина, робко указывая птице рукой. Но ласточка, встретив на пути к воле прозрачную преграду, засуматошилась еще сильнее, рванула в глубь горницы и оттуда, набрав разгон, со всего лёту шибанулась в стекло, пробивая себе свободу...

Марина даже услышала хруст костей птицы. Ласточка поверженно упала на подоконник, разбросала надломленные крылья. Она еще некоторое время трепыхалась, щетинилась хохолком и часто-часто дышала. Глаза ее блестели сумасшедшей чернотой, крылья судорожно подрагивали. Вскоре она умерла. Даже в доме стало особенно тихо. Марина испытывала вину за ее нелепую гибель и долго боялась приблизиться к птице.

Суеверного толкования, что птица влетает в дом к беде, Марина по тогдашнему малолетству еще не знала. Но примета сбылась. Через несколько недель умерла мать, неожиданно, от простой, казалось бы, инфекции, от гриппа, которому сперва и значенья-то не придала. Только много позже Марина связала самоубиенную птицу, которая заблудилась в их доме и не нашла обратного пути к воле, с предвестием своего сиротства.

...«Господи, как жутко гудит ветер! Беду как будто кличет». – Она снова быстро открыла глаза. Кругом потемки и гомон ветра.

– Сережа! Сергей! – тихо позвала она мужа. Но он не проснулся от ее тихого зова. Он не проснулся даже тогда, когда она обняла его сзади и уткнулась щекой ему в спину.

Ночной ветер не просто нахулиганил в городе, он принес чрезвычайщину: понагнал огромные, набрякшие влагой в южных краях тучи, и поутру эти тучи обрушились на землю небыванным ливнем. Так началось трехдневное светопреставление. Никольск погряз в различных авариях: рваные обесточенные нити электролиний, захлебнувшиеся колодцы с телефонными кабелями, размыв и сбой отопительных систем. Вместе с дождевыми и тальными потоками город наводнили досужие рассуждения и трагические сводки:

«В результате ураганного ветра и проливных дождей пострадало более ста жилых домов...»

– Во как! Это напоминанье о библейском потопе. Людям во грехе Боженька знак подает.

– Парниковый эффект. Никуды от него не денешься. Еще годов двести – и наш Север для всего мира спасеньем будет.

– Дождь почти весь снег растопил. В старом городе пол-улицы смыло. Под уклон как хлынуло к реке – так и смыло.

– Бабка из крайнего дома, говорят, на своей кровати утопла. Ишь, как вода-то взметнулась!

– По радио про без вести пропавших говорили. Троих недосчитываются. Все из старого города.

Никольск незамысловато делился на старый город и новый. Делила его река Улуза. На одном берегу, пологом, располагались дома почти сплошь одноэтажные, деревянные, с печными трубами над крышами, с примыкавшими дровяниками, сараями и даже хлевами, – отсюда и «старый». На другом берегу, на яру, дома выстраивались многоэтажные, из камня, из бетона; здесь, в новом городе – основное народонаселение Никольска, властная и индустриально-культурная сердцевина.

Старому городу водяная стихия нанесла немало урона. Циклон еще не иссяк, еще сыпались на землю капли остатного дождя, а в квартиру к Кондратовым пришла оттуда, из заречья, с изможденным и серым лицом Валентина – старшая Маринына сестра. Заговорила убитым голосом:

– Нас ведь, считай, чуть не смыло. В избе воды по щиколотку налило. Ветер шифер содрал с крыши, а потом – как из ведра. Шифоньер с одежей замок... Из дома воду токо что

откачали. А погреб еще полный. Боимся: фундамент бы не разрушило. Дом-то, считай, нашим дедом строен.

Марина слушала сестру, открыв рот. Испуганно и беззвучно повторяла вслед за ней некоторые слова и дивилась, что рассказ идет об отчем доме, рубленном пятистенке, который еще с детства казался необъятным и прочным.

– Но я к тебе по другому делу пришла, – сказала Валентина и улыбнулась. – Пришла тебе путевку отдать. Южную, на море. Сейчас там, правда, не покупаешься. Но минеральные ванны, грязь лечебная. Мне эта путевка по соцстраху досталась. Я уж тебе говорила, что мне давно обещали. Теперь ты поезжай. Я на работе начальству всё объяснила. Они не против. Путевка-то уж выкуплена. Ты в стройуправлении на железной дороге работаешь, у тебя и билет бесплатный.

Марина опять слушала с изумлением. Про родительский дом говорилось что-то невообразимое, а уж про море и того чудней.

– Куда я сорвусь, Валь? О таких поездках люди загодя думают.

– Поезжай! Когда еще такой случай подвернется по теперешней-то жизни? Ты все про море мечтала. Вот, считай, и сбудется.

– Нет, Валь, я не могу. А Ленка? У нее за четверть кой-как «двойку» исправили. А Сергей? У них на заводе повальные увольнения. Заработанные деньги который месяц не платят. Да и мое начальство может закобениться, – отвечала встречными доводами на сестрину доброту Марина. Но ее голос уже выдавал просветные колебания. Зерно соблазна пустило скорый росток.

На другой день, вернее, – в следующую ночь, Марина страстно, с горячей нежностью отдавалась мужу. Она целовала его неистово, жадно – хотела впрок насытить своими ласками и сама насытиться надолго. Ночь вышла бурная, будто молодожёнская, упоительная, до четвертого часу... Только где-то в глубине, на самом доньшке души, Марину холодила досада: получалось не всё как бы по любви, было кое-что и по расчету: чувствуя себя виноватой перед Сергеем, она любвеобилием заглаживала эту вину за свой нечаянно-счастливый отъезд. К морю.

2

На Кавказ, до черноморской здравницы, пришлось добираться на перекладных – через Москву.

Столица затянула Марину в многоликую и бесцветную людскую сутолоку, поразила потоками машин, забрызганных грязной весенней сырью, опажнула чужестыю своего мироустройства. «Тут тебе не Никольск! Растопчут и не заметят...» – с опаской вертела по сторонам головой Марина. Блескучесть новых, буржуинских фасадов: «У них банки, что ль, на каждом углу?», озверелая пестрота щитовых реклам, зловонная стайка бомжей на Ярославском вокзале – мужиков и баб неопределенных лет, в отрепьях и с синяками на лицах, и у подземного перехода пацаненок-попрошайка, нерусский, смуглолицый, наглый, хватающий за полу плаща и протягивающий свою чумазую ладошку: «Дай на хлеб! Дай на хлеб!»; бледные лица пассажиров в метро: «Почти все люди неприбранные какие-то. Женщины все в брюках и не накрашены. Курят на ходу. И будто у всех волосы немыты»; митинг бутылок на витринах, тряпье, еда повсюду – миражи изобилия и благополучия, гарь и толчея на дорогах... Марина собралась на Красную площадь, где когда-то школьницей фотографировалась на фоне вычурных и благолепных стен и куполов Василия Блаженного. Но на площадь не пускали. Сумной охранник в черном комбинезоне буркнул, глядя в сторону: «Закрето сегодня!» Марина без почтения посмотрела на Спасскую башню, над которой кружили вороны, и пошла в ГУМ. Иностранное захватничество в торговых секциях и неподступная дороговизна ошеломили ее, словно нечаянно вторглась на территорию чужого пресыщенного государства... Под нескончаемый гул машин она прошлась по Театральной площади, возле заколоченного фанерой фонтана у Большого театра съела мороженое – шоколадный шарик в вафельном стакане. В Третьяковку не поехала, хотя прежде и намечала. Несколько часов она промытарилась на Курском вокзале и с радостью забралась в поезд, лишь тот выкатили под посадку.

Дорожные соседи по купе – армянская супружеская пара – оставили Марину в Ростове-на-Дону в одиночестве. Да и во всем вагоне попутчиков набиралось наперечет. Один из них был живописно бросок. Немалого росту, пузанистый, с большой лысой головой и с неясного цвета, какой-то серо-коричневой бородой, широкой, но редкой, как драная метелка. Он частенько оглаживал свою голову, проводил рукой ото лба к загривку, приминая попутно хилые пряди волос, висевшие на висках и на затылке, а после вел ладонь от усов вниз, оправляя бороду, которая тут же начинала по-прежнему топорщиться во все стороны. В картинном облике, в крупном лице его угадывалось что-то львиное, породистое: мясистый, чуть приплюснутый нос, большие глаза – нараспашку – и клоунские улыбчивые губы. В пути Марина много раз встречалась с ним в вагонном коридоре, но их первый разговор случился только после станции Туапсе.

– Море! – воскликнула Марина, когда состав, забирая влево, к побережью, выходил на окраину портового города, открывал взгляду синий простор. – Море! – уже скромнее повторила она и стеснительно обернулась на лысо-бородатого «льва», который тоже стоял в коридоре.

Он улыбнулся ей, подошел, спросил покровительственным тоном:

– Никак впервые, дитя мое?

Марина хмыкнула: «Ишь ты, «дитя мое?»», хотела сказать, что у нее уже дочка – школьница. Но подошедший «дядька» выглядел очень приветливо и встречать его в штыки было неуместно.

– Раньше только в кино видела. Еще на картинках. И сама на картинках рисовала. Я когда-то в художественную студию ходила.

Море и впрямь оказалось чарующим и необозримым. Белоснежная курчавина пены играла на гребнях небольших волн, тающих на берегу в прибрежной гальке. Волны так же пенно задирались и разбивались о глыбы волнорезов и бун, о сваи пирсов. Крупные чайки кружили над побережьем. Казалось, сколько ни гляди вдаль – не набьет взгляд оскомину от трепещущей синевы.

Колоритного бородача и звали незаурядно; басовито и кругло звучало его имя – Прокоп. Прокоп Иванович Лушин. Оказалось, едут они с Мариной до одной станции; оказалось, Прокопа Ивановича пригласил «молодой начальник из новых русских», у которого дом на побережье, отдохнуть у моря и «покумекать» над новым издательским проектом; оказалось, что у Прокопа Ивановича повсюду «творческие связи».

– В свое время, дитя мое, – с ностальгической нотой рассказывал попутчик, – я работал в крупнейшем советском издательстве. Возглавлял отдел научно-популярной литературы. О! Знали бы вы, какие коньяки мне привозили авторы с Кавказа! А какие бурдюки из Средней Азии! А кумыс, а кальвадос из Молдавии, а рижский бальзам... Но теперь не пью, – он указал рукой на правый бок, в подбрюшье, имея в виду, должно быть, печень, а потом гулко щелкнул под бородой по горлу: – Посадил... Пришлось завязать.

Марина усмехнулась:

– Больше не хочется? – Она попробовала повторить жест попутчика, но звонкого щелчка не получилось.

– Дитя мое, что значит не хочется? Еще как хочется! Да нельзя. Подпал под уговоры своего начальника и принял лечение нарколога. Обильная выпивка, естественно, худо. Но и без вина жизнь уж совсем пресная. «Саперави», «Кинзмараули», «Цинандали». Одни названия таят вдохновение... Живу пока в состоянии стресса. Как осужденный!.. О-о! Уже на сорок минут запаздываем, – взглянул он на часы. – Начальник-то мой не уехал бы. Богатые бедных ждать не любят.

С платформы Марина и ее случайный попутчик вышли на небольшую пристанционную площадку с фонтаном: два изваяния дельфинов купались в струях искрящейся на солнце воды. Марина огляделась и обомлела. От теплоты, от лоснящейся листвы магнолий, от душистых и разлапистых крон каштанов, от толстенных могучих стволов пальм. От гор, которые тянулись ворсисто-зелеными грядами за курортным городком и сливались с синим небом. От чистоты молодой весенней травы на газонах и от свежести пурпурных маргариток в круглых каменных клумбах возле скамеек.

Поблизости, под полосатым солнцезащитным зонтом, устроился шляпный лоток. Марине тут же захотелось купить себе светлую шляпку, легкую, из соломки, у нее никогда такой не было. Она подошла к лотку, стала приглядываться к товару, прицениваться. Упустила на время из поля зрения попутчика.

– Поедемте с нами, дитя мое! – окликнул Прокоп Иванович. – Подбросим. – Он стоял в нескольких метрах от Марины, у раскрытой дверцы такси. Рядом с ним стоял он... тот «новый русский», «начальник». – Прошу любить и жаловать: Роман Васильевич Каретников, – с напыщенной веселостью представил его Прокоп Иванович.

Марине сразу захотелось одернуть на себе плащ, помятый от ремня наплечной сумки, оправить прическу и сделать так, чтобы он не заметил, что туфли у нее старенькие. И сделать еще на себе что-то такое, чтобы выглядеть получше, покрасше.

– Давайте вашу сумку, – предложил Каретников.

– Нет, что вы, не надо. Она легкая. Я сама... – Марина не хотела, чтобы он брал сумку в руки: ремни сумки – как засаленные жгуты, сумка повидала виды: и потерта, и в пятнах, которые уже никогда не отмыть.

Забравшись на заднее сиденье, Марина притаилась возле Прокопа Ивановича, как мышка, хотя ей очень хотелось, чтобы пассажир на переднем сиденье обернулся к ней и заговорил, перебил многословного редактора.

– Вот ваш санаторий, – остановил машину таксист.

– Уже? – удивилась Марина: езды случилось всего минут на пять.

Она попрощалась с Прокопом Ивановичем и Каретниковым, поблагодарила их и выбралась из машины.

– Все-таки я донесу вашу упрямую сумку, – сказал Каретников, выйдя из машины вслед за ней.

– Все-таки не надо, – улыбнулась Марина, но по велению какой-то силы, которая обещала ей продлить знакомство, занятное знакомство с этим человеком, она передала свою дорожную поклажу в мужские руки.

До санаторного корпуса, белостенного высотного здания с голубыми лоджиями, на которых были видны полосатые шезлонги, вела короткая аллея; они прошли этот путь почти в молчании: две-три дежурных фразы («Как доехали?» – «Нормально». – «Народу много?» – «Только до Ростова» – «Понятно, не сезон...»), но у Марины что-то защебетало в груди.

У стойки администратора она сказала:

– Спасибо вам. Вы... вы настоящий рыцарь.

– Какой же я рыцарь? Всего лишь сумку донес... Увидимся. – Прощальный кивок головы.

Прощальный взмах руки. Каретников уходит...

«Увидимся», – мысленно повторила Марина, и что-то забродило внутри, словно бы отведала впервые настоящего грузинского «Саперави», и первый легкий хмель колыхнул на приятной теплой волне разум.

Лифт поднял Марину на восьмой этаж. Она вошла в просторный холл, с зеркальной стеной и угловыми диванами; под огромным окном, в керамических напольных кашпо, грядую клубилась зелень. Она загляделась на растения, а потом увидела себя в зеркале и внутренне поежилась. Кургузенький серенький плащ, вылинявший, с разбитыми петлями, еще с невестинских лет служивший и как пальто – с байковой пристежкой, черная, устарелой длины юбка, прямая, без разреза, монашеская, и туфли, в которых на публике стыдно показаться. Хорошо хоть перед отъездом успела в парикмахерскую сходить. Сделала себе любимое каре и покрасила волосы в любимый, подходящий к своим русым, светло-ореховый цвет.

Казалось, из отражения в зеркале накатила в душу нежданная сумятица. Зачем поехала, зачем согласилась? Тут же вспомнился обиженный, плакливый голос Ленки: «Да, мамочка, уезжаешь, а меня не берешь. Сама-то у моря будешь греться, а мы тут мерзни... Ну и поезжай! Мне с папкой еще и лучше!» Сергей при провожанках был какой-то потерянный: не то чтобы недовольный, а молчаливый, рассеянно улыбающийся или сосредоточенный: как будто что-то хотел наказать, но не решался, медлил.

Марина подошла к окну, отсюда просматривалась аллея, по которой они шли с Каретниковым. Конечно, он уже давным-давно ушел и давно уехала их машина. «Увидимся... Еще бы ответил: зачем?» – игриво щекотнула себя Марина.

Дальше, там, за аллеей, магнитило взгляд долгожданное море.

* * *

Еще в короткой дороге, в такси, – дом Каретниковых находился от санатория поблизости – Прокоп Иванович с легкой скабрёзностью намекнул Роману:

– Очень любопытная провинциальная штучка. Не так ли, друг мой?

– Хотите поухлестывать? – парировал Роман.

– Куда мне! Седьмой десяток. И не забудьте, дружище, каково количество декалитров золотой влаги пропущено через мой организм... Все-таки в провинции женщины не утратили своей непосредственности. Деревенские девки и раньше головы господам кружили. Готов поспорить – она вам понравилась.

– Может быть.

– Завтра мы собирались в Грузию. Так что? Грузинский вояж погодит? Или, возможно, отменяется? – лукаво закинул удочку Прокоп Иванович.

– Нет. Всё пойдет по плану. Сперва – Абхазия, потом переезд в Аджарию, в Батуми, – ответил Роман, но в голосе его улавливалось некое сожаление по поводу собственных слов.

3

Полнотелая, но очень проворная, бойкая бабенка Любаша с порога взяла новоприбывшую в оборот.

– Я уж тут который день одна тоскую. Не зря у меня нос чесался – к выпивке... Ну чё стоишь, как школьница? Располагайся! С приездом!

Не первый раз уже в здешнем санатории, бывалая, Любаша с ходу просвещала Марину о порядках: какие процедуры «выпросить» у врача, кому из персонала «сунуть» шоколадку, на какие часы записаться на минеральные ванны.

– С мужиками тут, соседка, не разбежишься. Они тут при женах. Или уж взять с них нечего, кроме анализу... Тут все хохму рассказывают: одна женщина звонит по телефону подруге и говорит: «Маша, можешь сюда не приезжать. Мужчин здесь нет. Поэтому многие женщины уезжают отсюда, так и не отдохнув...» – Любаша засмеялась, и под ее крикливого леопардового раскраса кофтой, как студень при тряске, заходили, заколыхались большие, дынистые груди.

Вечеру Марина и компанейская Любаша сидели в номере у накрытого стола – с бутылкой «Совиньона», фруктами и коробкой конфет.

– Я в зверохозяйстве работаю бухгалтером. Витяня, муженек мой, там же – завгаром. Деньги вроде позволяют – вот и езжу, лечусь. Я ведь двоих парней через живот родила. Оба раза кесарево делали... Старший-то, оболтус, уж по цельному портфелю колов носит. А младший пока сопли на рукав наматывает. Девку я мечтала родить, помощницу. Но не дал Бог. Пускай – парни. Лишь бы не пили... Мужики-то у нас уж больно хлипкие. Слабже баб. Чуть чего-то в жизни не заладилось, он и за стакан. А русским людям пить нельзя. Я по телевизору слышала: мы народ северный, у нас расщепленье водки в организме плохое. Вон тутошние кавказцы хлебают свою чачу – и ни одного алкаша... Я своего Витяню, бывало, на плече из гостей приносила. Но чтобы на работе – ни-ни!.. Твой-то, Марин, пьет?

– Как все, – машинально откликнулась Марина. – Ни «да» ни «нет» не скажу. Бывает. – На минутку задумалась, погрустнела.

...И одного *того* эпизода хватит, чтоб никогда не ответить «нет». Сергей пришел тогда домой сильно пьяным, угрюмым; Марина опрометчиво, сгоряча возьми да упрекни его: дескать, денег и так нет, а ты на водку; он вскинул голову, глаза красные, налитые злостью и – хлесь кулаком по стеклу серванта – загремело, зазвенело все; Ленка выскочила из своей комнаты: увидав, побелела как лист, забилась в угол: «Мам, я боюсь»; пришлось ее к соседям на ночь отправить, от греха подальше; Сергей потом тут и уснул, на полу, возле осколков, зажав голову окровавленной рукой; поутру казнил, на коленях перед Мариной ползал: мол, прости за свинство и за дебош, мол, начальство на заводе вывело, несправедливо премиальных лишило, а тут еще дома укор про деньги... Она тогда нахлебалась собственных слез.

– Подымай-ка стакан-то! За нас! Не все мужикам пировать! – приободрила Любаша. Хлопнула полстакана вина, поморщилась, целиком запихала в рот конфету. Еще не прожевав ее, заговорила: – У меня сегодня по гороскопу: застолье и песнопение. Может, споем, Марин, что ли? Эту, как ее: «Расцветет калина, если ты мужчина». Или эту вот... – Не дожидаясь согласия соседки, Любаша затянула песню на известный саратовский мотив с обновленным текстом:

Теперь поют без лишних слов
Девчонки из Саратова:
Уж лучше пять холостяков,
Чем одного женатого...

Марина отхлебывала из стакана кисловатый «Совиньон», глядела в окно на море. Солнце уже утонуло. Алый, разбросанный по воде след зари тоже потухал, сползая к горизонту. Все вокруг забирали под себя светлые сумерки. Эти сумерки были скоротечны: зыбкий вечерний свет в южных горных краях быстро насыщается темнью ранней ночи.

Любаша стала приготовляться ко сну. Массажной щеткой принялась шумно драть шапку осветленных волос – прическа-то налачена. Долго смывала косметику. Потом облоклась в просторную белую ночную рубаху и села на постели – дородная матрона с круглым лицом, пышной грудью и полными руками, усыпанными мелкой рыжатиной. Сидела неподвижна, задумчива. Но задумчива без печали, без усталости и напряжения в лице и осанке, – задумчива в какой-то веселой заторможенности. Вдруг Любаша задрала босую ногу, громко почесала широкую желтую пятку.

– Чё ни говори, а тот молоденький мужикашка, который в столовой напротив тебя сидит, мне поглянулся. – Она расхохоталась, обнажая зубы и какие-то мечтательные плотские замашки. Груды под тонкой ночнушкой у нее ходили ходуном. – С таким бы мужикашкой можно побалакать! Н-да-а, можно бы. – Она живо нырнула под одеяло, укуталась со всех сторон, подоткнув концы одеяла под себя, и затихла.

Марина погасила в комнате свет. За окном прояснилась в густых синих тонах южная ночь. Темным заостренным частоколом казалась вереница кипарисов, тянувшихся вдоль набережной. Над глухими тропическими кущами поднимала большую растрепанную голову высокая пальма. На вышке канатной дороги горели мелкие красные светляки. Над морем уже взошла луна – по затихлой ночной воде полосой струился матово-серебряный свет.

Под тревожной и зудливой ноткой разлуки с домом, со всем привычным в Марине пробуждалась радостная мелодия сбывшейся мечты. «Ликуй! Ты же у моря! – мысленно обратилась она к себе. – Здесь же как в сказке...»

Перед сном, немного стыдась самой себя, стыдась, потому что здраво призывала не думать, не вспоминать о нечаянном знакомстве с Романом Каретниковым, она все же с удовольствием припоминала детали этого знакомства, прокручивала короткие фразы подкупающего разговора. Эх, вздыхала Марина, Сергей у нее такой раздрызганный, неаккуратный: отпадет пуговица у пиджака, так и будет ходить, пока пропажу она или Ленка не заметит, не пришьет; а у *этого* Каретникова всё с иголочки, стильно – воротничок рубашки, обшлага куртки, светлые брюки – нигде лишней мятинки, пятнышка; даже небрежность в одежде, и та стильная; конечно, это деньги, но разве только деньги? Да, пожалуй, с таким можно было бы побалакать! Губы Марины лукаво покривились.

4

Так случалось с ней и прежде, особенно в девичестве, когда была студенткой. Ненароком какой-нибудь симпатяга парень на минуту-другую коснется ее судьбы, а Марине уже мнится их счастливая совместная будущность. Она уже боготворит его, он уже безумно ее любит и готовит подарить ей полмира, – ведь остались на свете рыцари... Этаким эфемерный любовный платонический ветерок дурманил девичьи мозги. Да разве исключительно ей! Умом-то она понимала: приятное наваждение, сладкий призрак, а сердце стремилось остаться в иллюзиях.

«Где же он, этот гладко выбритый и модно одетый господин Каретников? С большими деньгами!» – шуточно обращалась Марина в мыслях то к себе, то к пузатому Прокопу Ивановичу, который и подсудобил волнующее знакомство.

Курортные дни, расчерченные режимом, текли весьма скоро, и сулёное «увидимся» превращалось в обман. Марина укоряла себя за сентиментальность: зачем она какому-то богачу из Москвы? Вон сколько девчонок, молоденьких, смазливеньких, свободных... Всё глупости, блажь! Но и сегодня вечером, когда собиралась в центр курортного городка на телеграф, чтобы позвонить домой, где-то по закоулкам желаний трепетал огонек обещанной встречи.

По санаторной аллее Марина всякий раз шла, как по райскому саду – очарованная. Словно огромный куст алоэ или гигантский моллюск, раскидисто вздымала над цветником толстые щупальца агава; будто фонтан из ярко-зеленых овальных листьев, рвалось к солнцу банановое дерево; низкорослый и корявый, торчал по краю клумбы твердый самшит, с мелкими, хитином покрытыми листьями; огромные кудлатые шапки пахучего, ядовитого своими плодами олеандра, с еще не распустившимися бутонами цветов, но уже пугающего густым ароматом; тюльпановое дерево, секвойя, дикий лимонник, рододендрон... «Какой благодатный край!» – улыбалась Марина окружающей ее зелени и глубоко вдыхала чуть-чуть йодистый от морской воды, насыщенно-свежий, с привкусом горной кавказской липы воздух.

Поверх кустов вечнозеленой туи, ограничивающих русло аллеи, в прогалах меж стволов высоких сосен, Марина опять фрагментами заметила странный дом. Она свернула с аллеи на тропинку, чтобы подойти ближе и разглядеть. Это был заброшенный соседний санаторий. Четыре этажа разграбленного дома с выбитыми стеклами, кое-где даже без рам, с проплешинами из серого камня – где обсыпалась штукатурка, с темными пустотами вместо дверей. Среди курортного благоденствия дом выглядел устрашающе – как урод...

Марина уже слышала от всеведущей Любаши про этот злополучный санаторий:

«Недвижимость поделить не могут. Местная мафия на себя одеяло тянет. Московские жулики – на себя. Санаторий-то раньше какому-то заводу из Сибири принадлежал. Завод разорился, перешел в руки московских хапуг. Они сюда было рыпнулись, да здесь своего жулья хватает. На нашей, мол, земле санаторий. Вот и довели до ручки... Чё удивляться! По России-то теперь такого – сколь хошь...»

Марина с опасением и жалостью смотрела на этот дом. Она, казалось, уже видела его на хроникальных кадрах из военных съемок; будто не налеты современных варваров, не убыль жизни от жестокости реформаторства в стране, а война обобрала этот дом мирных людей. А ведь кто-то и сейчас живет при войне. Кому-то всё неймется. Чего делят? В Чечне, в Абхазии? В Осетии какие-то конфликты... В Приднестровье не уляжется. По всей России беженцы, вынужденные переселенцы. Даже в Никольске. Кого из Казахстана, кого из Туркмении судьба пригнала...

Тропинка, которая уводила Марину от мрачного дома и бесцветных мыслей, лежала мимо неприметной, зелено окрашенной будки. «Наверно, старика садовника», – догадалась Марина. Каждое утро невысокий сутулый старик в темной куртке и черной каракулевой шапке – на любую погоду, с грабельками и ящиком для рассады появлялся у здешних клумб. Повстречав

его однажды, забыть уже было нельзя. Слишком выразительное было у него лицо, не безобразное, но памятное, – в которое случайный прохожий мог посмотреть и, точно на портрете, увидеть усугубленный образный лик старости. Смуглое лицо садовника было безжалостно иссечено морщинами: глубокими бороздами и мелкими трещинами, вдоль и поперек. Садовник обитал тут замкнуто, ни с кем из отдыхающих не говорил. Если кто-то о чем-то у него спрашивался, он отвечал кратко или указывал куда-то грабельками.

Пройдя еще немного по тропинке, Марина нежданно увидела старика. Невольно притаилась. Он стоял на коленях на маленьком ковре, расстеленном на земле, опустив голову, занятый мусульманской молитвой. Время от времени он поднимал кверху ладони, потом омывал ими свое лицо и седую редкую бороду и отбивал земные поклоны.

– Э-э, красавица! Подглядывать некрасиво! – огорошил Марину голос сзади, голос вкрадчивый и веселый, с южным акцентом.

Невдалеке стоял молодой человек в светлой фетровой шляпе и темной кожаной куртке, с ровно стриженной смоляной бородой и усами, с насмешливо-игривым блеском в черных-черных глазах, – какой-то броской кавказской породы, в которых Марина не разбиралась.

– Я не подглядываю. Я мимо шла.

– Разве ты, красавица, шутку ни понимаешь? – Он подошел к Марине ближе, заговорил еще тише и сразу по-свойски: – Это дедушка Ахмед. Мы с братом у него сейчас остановились. Уважаемый дедушка. Трушеник... Ни надо мешать ему. Пойдем, красавица. Я тебя провожу. Меня Русланом звать.

Его незамедлительное «ты» не резало Марине слух и не ущемляло. Будто заговорил с ней простодушный подросток, которому такая фамильярность простительна. Голос у него был вежлив и добр по окрасу. Говор по-русски почти чистый, лишь иногда проскочит что-то смягченное, кавказское: «ш» вместо «ж», или «и» вместо «е». «Пускай проводит, так даже интересней... На бандита не смахивает. Дорогим одеколоном пахнет. Шляпа. И борода вон как острижена – волосок к волоску...» – мимоходом отметила Марина.

Телефонный узел на почтамте нынче не работал: «Закрыто по техническим причинам». Марина расстроилась: она обещала Ленке и Сергею позвонить именно сегодня.

– Ты не знаешь, – она уже говорила с Русланом по-компанейски, – где здесь еще междугородный телефон?

– Конечно, знаю, красавица. Рядом. Только за угол поверни.

– Шутишь?

– Честное слово горца, – рассмеялся Руслан.

– А ты откуда сюда приехал? – поинтересовалась Марина.

– Из Краснодара. Я сын Кавказа, красавица... Э-э, обишаешь, красавица... Я тебе честно говорю – за углом.

За углом оказалось летнее кафе со стойкой бара и белой пластиковой мебелью под клеенчатыми пестрыми грибками. Марина хотела возмутиться и тут же уйти, но радушный сын Кавказа упредил:

– Садись и звони куда хочишь, красавица. – Он достал из кармана своей темной кожаной куртки сотовый телефон.

– Я... я по такому не буду, – осторожно отодвинула Марина миниатюрную трубку. – Это, наверно, дорого?

– Обишаешь, красавица. Называй цифру... Кушать что-нибудь хочишь?

От еды Марина отказалась. Но вина – сухого красного грузинского «Саперави» – немного выпила: испробовала настоящего, ведь в Никольск под такой маркой наверняка привозили суррогат. Да и поддержала компанию доброму горцу, который услужил: она дозвонилась до Ленки; Сергея дома не оказалось, видать, с работы еще не пришел.

– Красиво здесь, – сказала Марина, глядя на море. Над морем плазма солнца под белесым дымком облаков уже стала малиновой. Тихо вечерело.

– Не-е, красавица. Здесь ищѐ ни красиво, – возразил Руслан и указал рукой на горы. – Красиво там. По канатной дороге. У водопада. Там озеро. Всѐ очинь лучше видно... Пойдем, красавица. Я тебе покажу. Ехать десят минут. Экскурсия. – Руслан поправил на голове свою шляпу, обретя что-то ковбойское: – Ни о чем ни беспокойся, пожалуста. Там настоящий пизаж, красавица.

Марина снисходительно улыбнулась на «пизаж», отпила немного вина из стакана, поймала взглядом кабину, ползущую по толстому тросу к верхней нагорной вышке. Хоть разок прокатиться по «канатке» – она давно загадывала...

На высоте, когда кабина канатной дороги, точно птица, плыла над склоном горы, над развергнутой пропастью с отвесными скалами, у Марины радостно кружилась голова. Совсем не было страшно. Просто дух захватывала необычность: горы – в коврах вспыхнувшей по весне зелени, чаша моря, облитая золотом нисходящего солнца. И легкий сладкий хмель от грузинского вина.

Поблизости от вершинного колеса канатной трассы, в изысканном местечке, меж двух склонов на небольшом плато, примостился ресторан-шашлычная. С севера, там где начинались горные отроги, серебрился живой струящейся водой двухступенчатый водопад, который растворялся в небольшом озере с берегами в нагромождении каменных глыб. С юга – во всю ширь, во весь возможный простор, на весь размах рук и души – открывался окрыляющий вид на море.

Открытый ресторан был увешан декоративными рыболовными сетями. Для декора и диковинки служило и искусственное озерцо, в котором ходила форель. Озерцо подсвечивали фонари, и плавники у рыб казались розовыми, похожими на розовые воздушные воланы юбок... Но главная достопримечательность – смотровая площадка, вынесенная чуть вперед, над ущельем. Там в зрителе появлялась жажда полета: море притягивало, заманивало в синюю необъятность – и воды, и неба над водой.

– Здесь вкусный шашлык. Весь натуральный. Хороший шашлык только из хорошей баранины, – сказал Руслан, махнув рукой парню-шашлычнику, который стоял у мангала; оттуда щедро распространялся запах жареного мяса и каких-то пряностей.

– Мне только кусочек! Один кусочек! Слышишь! – предупредила Марина.

– Опять обишаешь, красавица, – развел руками Руслан. Девчонке официантке он негромко бросил: – Коньяку принеси.

– Коньяку? Ты с ума сошел! После вина? – запротестовала Марина.

– Э-э, красавица. Градус на повышение – это ни вредно. Я учился в пищевом институте в Краснодаре. Специалист. По двадцать грамм – кровь лучше ходит, – рассмеялся Руслан.

Такого шашлыка Марина прежде не пробовала. Сочные куски баранины, обжаренные на открытом огне, прокопченные дымком, с кольцами лука и помидоров, дерущая горло аджика, зелень: петрушка, укроп, кинза... Ко всему – тост Руслана: «За твою красоту, красавица!» – и дурманный своей крепостью и ароматом коньяк. Тепло и легко внутри!

В кармане куртки Руслана затирликал мобильный телефон. Руслан заговорил на каком-то своем, кавказском языке. Марина, дабы не подслушивать пусть и непонятного, но чужого разговора, поднялась из-за стола и вышла на смотровую площадку. Вновь, как несколько минут назад, когда впервые взглянула отсюда, ее опажнул и подхватил морской простор. За спиной у нее возвышались горы и слышался отдаленный бесконечный говор водопада. Впереди, в растилающемся золоте заката, к берегу, будто к ней навстречу, двигалось судно. Разглядеть его поточнее было невозможно – далеко. Вероятно, прогулочный катамаран возвращался к причалу. Но Марина романтично примерила к себе желания гриновской мечтательницы Ассоли: будто в море – фрегат, над которым способны взметнуться алые паруса *неизвестного* Грея...

Сзади к Марине подошел Руслан, протянул ей бинокль.

– Здесь всё налажино, красавица, – ответил он на ее удивленный взгляд и рассмеялся: – Теперь ты, красавица, – капитан на корабле!

Марина стала искать в окуляры судно и в то же время почувствовала, что Руслан осторожно приобнял ее за талию.

Стемнело очень скоро. Канатная трасса закрылась. С экзотических шашлыков пришлось возвращаться по узкому серпантину. Когда на горной дороге нанятая Русланом машина виляла из стороны в сторону, а свет фар метался по придорожным скалам и кустам, Марине становилось дурно, ее мутило, не хватало воздуха.

Руслан сидел рядом, на заднем сиденье, веселый, с блестящими глазами, неизменно широко улыбался и обнимал Марину за плечи. Время от времени она пыталась высвободиться из его рук, но то ли не хватало сил, то ли Руслан был настойчив...

– Зачем мы здесь? Мне же в санаторий! – испугалась Марина, когда водитель причалил свой автомобиль в полутемной улице к какому-то забору с калиткой.

– Сичас, красавица, пересядем в другую машину.

Возможно, Марина взбунтовалась бы, начала скандалить, не вышла б из машины или стала просить защиты у водителя, но в эти минуты ей было плохо. От непривычной острой пищи, от вина, от коньяка внутри копилась тошнотворная тяжесть, в голове шел хмельной гул, все тело было ватным, чужим. Она неловко, принужденно выбралась из машины, которая тут же тронулась прочь – по глухой улице, с редким светом в окнах низких домов, едва сочившимся сквозь садовые заросли. Руслан подхватил Марину за локоть и засмеялся:

– Мой дом – твой дом! – Он открыл калитку, и Марина в полутьме увидела низкий одноэтажный дом, сложенный из разных необтесанных камней, с узкими окнами. В одном из окон брезжил свет. – Воды стакан выпьем, красавица, и поедем...

У стены дома, на столбе, Марина разглядела рукомойник. Казалось, здравая мысль толкнула вперед: надо умыться, освежить хотя бы лицо. Она вошла в калитку. Повесила свою сумочку на гвоздь на столб, но еще до того, как поднять носик рукомойника, почувствовала сильные властные руки Руслана. Он обнял ее сзади, крепко, уцеписто, с животной страстью. Марина тут с ужасом поняла, что не сможет сопротивляться, что у нее не хватит сил отбиться от него, что звать на помощь некого, да и кричать, визжать – для этого тоже нужен запал.

Чуть позже в доме, куда затащил ее Руслан, в какой-то темной комнате, где пахло табачным дымом, Марина вздрагивала и охала от насильных действий. Руслан торопливо и безжалостно сдирал с нее колготки, распаленно шептал с угрозой:

– Платье сама снимай, красавица! Вдруг парву...

Потом он завалил Марину на какую-то твердую постель, будто на кушетку. И дальше – тяжесть его тела, горький запах его пота, частое свирепое дыхание и колючие волосы бороды. Всё это длилось долго, больно. Марине хотелось провалиться в хмельное затмение, в беспамятство. Или истошно взвыть и молить неведомо кого о пощаде.

Потом она сидела на постели, съежившись и дрожа, прикрываясь своим платьем. Руслан сидел рядом, размягченно отдышивался. И казалось, посмеивался в темноту. Вдруг в комнате, в потемках угла, раздался шелчок зажигалки. Желтое вытянутое пламя высветило бородатое лицо наголо бритого человека. Он сидел на стуле в полосатом халате, в распах виднелась его черно обволосевшая грудь.

– Это мой старший брат Фазил... – весело сказал Руслан. – Э-э, красавица, не спеши! Еще не всё... Я всегда делюсь со своим братом... Шуметь не надо... Вкусный шашлык кушала? Кушала... Вино пила? Пила...

Марина рванулась с кушетки, но ее остановили сразу четыре руки.

5

Огромный заводской цех с высокими клетчатými окнами в давнем и загустелом слое пыли покинуто безмолствовал. Ряды токарных и фрезерных станков уже позабыли рабочую сноровку и уход – тоже подернулись клейкой пылью. В станочных шеренгах кое-где зияли пустоты: некоторые станки находили себе новых, нездешних хозяев; иные были сорваны, сдвинуты с мест – ждали, когда их обколотят деревянными щитами и свезут отсюда.

Посреди цеха, на главном проходе, лежал на боку, видать, нарочито опрокинутый и уж точно обматеренный электрокар с черными задранными колесами, иссеченными металлической стружкой. Словно ребенок-переросток швырнул эту гигантскую опостылевшую игрушку... Возле станков валялся никчемный инструмент: стертые напильники, сломанные сверла, тупые шершавые фрезы, тут же – рваная промасленная спецовка, защитные пластмассовые очки, ботинок из толстой грубой кирзы.

Гулкое пространство цеха подхватывало шаги Сергея Кондратова и вторило им где-то под высокими сводами негромким эхом. Сергей взглянул вверх: прежде, когда тут работали люди, на сквозных бетонных матах сидели дикие голуби, они не боялись станочного шума. Теперь насесты пустовали, очевидно, и птицы отступились от этого обанкротившегося хозяйства.

– Нечего жалеть, Кондратов! Сдохло производство, ну и хрен с ним! Вон, погляди американские боевики. Где все бандиты устраивают разборки? Вспомнил? Да? – Начальник цеха Окунев, крепенький и кругленький, как гриб-боровичок, с залысинами и шустрыми серыми глазами, был сейчас особенно говорлив; он как будто оправдывался, что остался и при должности, и при службе, несмотря на повальное цеховое безработье. – Там у них, в Штатах, целые комплексы брошены. Склады, порты, ангары разные. И ничего! Одно дело рухнуло – другое начинают. А мы вечно сопли жуем!

– Я американские боевики не смотрю, – негромко сказал Сергей. – Почему расчет не дают? Уже которую неделю тянут.

– Завтра придет новый директор, у него и спрашивайте. А я что? Я как все. Я тут вроде сторожа оставлен. Сам без денег сижу. Начальником цеха только считаюсь. Прав никаких. В Штатах контракт с менеджером заключают, так там всё прописано... – Окунев опять зачастил словами, ввертывая забугорные примеры.

Сергей потупился: он ведь, по правде-то сказать, шел к Окуневу одолжить денег. Вышли они с ним из одной альма-матер – сокурсники в политехническом институте, немало лет работали здесь, под общей цеховой крышей; как-то раз даже семьями ездили на турбазу. Но нынче Окунев для Сергея неподступен. Вьется, юлит, такого не ухватишь, по-дружески по плечу не похлопаешь.

– Станки, оборудование – куда? Уже продали? – спросил Сергей.

– По дешевке какие-то поляки выторговали. Скорее всего, перекупщики, спекулянты. Они это умеют. Не то что мы, сопли жуем.

– Неужели тебе ничего не обломилось?

Окунев раздраженно скривился, нервно махнул короткой толстой рукой; перешел в тихое наступление:

– Ты чего пришел-то?

– В свою лабораторию. У меня там... – Сергей замылся. – Вещи кой-какие, книжки. Оборудование из лаборатории тоже продано?

– Пока нет. Да и кому оно нужно? Так всё растащат. Одно старье – взять не хрен.

– У кого ключ?

– У меня? Зачем тебе?

– Сказал же: личные вещи забрать.

Окунев неохотно достал из письменного стола ключ, протянул Сергею, спросил смягченным до приятельского тона голосом:

– У Маринки-то в управлении как? Не сокращают?

– Вроде нет.

– Попробуй к ним устроиться. У них управление от железной дороги. Там все ж понадежней. Не разбазарили пока.

– Попробую. Вот приедет и попробую.

– Где она?

– На Черном море, в санатории.

Окунев с фальшивой радостью подхватил:

– Вот видишь, Кондратов, не все так плохо. У наших безработных жены по югам катаются! А я вот и забыл, когда к морю-то ездил.

– Маринка тоже не заездила. Первый раз выпало, – тихо бросил Сергей и вышел от Окунева.

Запустение – как незримая инфекция... Сергей стоял посреди лаборатории измерительных приборов, куда приходил добрый десяток лет, стоял, озирался и подмечал необратимые превращения. Как в старом доме, из которого навсегда расселили жильцов, а дом обрекли на снос, не потому что слишком ветхий, а потому что мешал кому-то; жильцы побросали здесь вещи, им уже ненужные, но еще годные по существу. Осциллограф без кожуха, с внутренностями, кишачими проводами, раскуроченный тестер с расколотым стеклом, паяльник, уткнувшийся черным жалом в баночку с канифолью, кривое кольцо скрученного электропровода, полбанки засахарившегося смородинового варенья, покрытого белой плесенью, коричневая пыль на столах, на полках, на подоконниках. Горшок с мумией цветка и воткнутым в землю окурком. По полу рассыпаны канцелярские скрепки.

Над рабочим столом Сергея размещался испытательный стенд, утыканный приборами, кнопками, клеммами. Этот стенд он монтировал несколько месяцев, почти год... Сергей даже до конца не формулировал эти мысли – рождавшиеся мысли будто кружили в спертom воздухе, валялись на полу, вязли в густой пыли – обрывочные, размытые, горькие... На окошке кассы в заводской бухгалтерии надпись: «Денег нет. Просим не стучать»; оборудование распродано; завод по воле министерских делег принадлежит теперь каким-то новым хозяевам, может, через подставных лиц – иностранцам, которые вряд ли вернут к станкам рабочих. Стенд? Кому он нужен? Продадут за несколько центов или на свалку. Растащат какие-нибудь ханыги на цветмет... Сергей взял из слесарного ящика монтажку, подошел к стенду и со всего маху вдарил по нему. Вдарил раз, второй, третий – по самому центру, по густоте приборов, по дисплею. Полетели стекла, пружинки, стрелки приборов, громко лопнула какая-то лампочка. Поочередно, зацепив монтажкой углы стенда, Сергей выдрал свое рационализаторство с мясом из кирпичной стены. Снова что-то стало рассыпаться, разваливаться, что-то непоправимо лопнуло. Сергей положил на место монтажку и, злобно удовлетворенный тем, что стенд опрокинуто пал лицом вниз и восстановлению не подлежит, вышел из лаборатории.

Ничего не жаль: ни труда, ни времени, ни мозгов! Только – притупленное неизбежностью разочарование. Будто готовился к важному экзамену: читал, штудировал, запоминал. А после взяли да экзамен отменили. Эти знания, мол, теперь ни к чему. Но и затраченной энергии не восстановишь.

– Там, в лаборатории, стенд отвалился. Крепеж, наверно, ослаб. Ты скажи уборщице, чтобы подмела, – угрюмо произнес Сергей, передавая ключ Окуневу.

– Ни хрена не врублюсь. Какой стенд? – недоумевал поначалу Окунев. Но вскоре, видно, доперло: залысины налились красниной: – Ты чего, Кондратов, неприятностей хочешь? Статью захотел? Да?

– Супруге своей привет передавай, – перебил его Сергей и вышел из кабинета.

* * *

Еще поутру, накануне, до бесплодного похода на завод, Сергей заглянул в овощной ларь, что стоял в коридоре. Картошки там почти не осталось – несколько маленьких, одрябло-сморщенных, с белыми ростками клубней. Потому и захватил авоську, чтобы зайти к Сан Санычу и Валентине – в погреб, за картошкой. Шалая вода недавнего весеннего проливня уже ушла из подвалов и овощных ям и хотя картошку у родственников значительно подпортила, но вконец не сгубила.

До старого города неблизко. Надо бы добираться на автобусе. Но Сергей решил пешеходом, хотел сэкономить, выгадать на пачку сигарет с фильтром: от дешевой «Примы» напал кашель, хрипело в легких. «Опять, гады, не рассчитались! Придется в долги лезть». Завод, опустелый и тоже будто обманутый, остался за спиной. На стекле заводской проходной была прилеплена листовка, зазывающая рабочих на протестный сбор.

Пройдя несколько коротких николевских кварталов, Сергей вышел на набережную, направился в сторону моста через реку. После теплых ливней берега Улузы обнажились, белизна снега сменилась скучной тканью – блекло-зеленая трава и серовато-ржавый палый прошлогодний лист; кое-где тускло краснели мокрой глиной крутые овражистые склоны. Лед с реки уходил, обычно, в середине, а то и в конце апреля. Нынче же казалось, что бесснежный, омытый циклоном панцирь на Улузе уже очень тонок и вот-вот хрустнет, уползет прежде срока.

Ни одного рыбака на реке. Даже в затоне, вокруг которого подковой щетинился бордовый тальник и где до самого ледохода сидели нахохленно над лунками мужики, нынче – ни единой души: то ли опасно хрупок лед, то ли спит рыба, не дается. Значит, и Сергею нечего помышлять о подледной.

Вдоль набережной тянулся неширокий парк с чередой тополей, берез, кленов, с редкими, раскорячившимися черные ветки дубами. Нечаянно, однако цепко, словно искал и подгадывал такую находку, Сергей заметил близ скамейки пустую бутылку. Из темного стекла. Такая рубль стоит, светлые вдвое дешевле... Нет, этого еще не хватало: пустые бутылки собирать! Переживем как-нибудь. К приезду Маринки что-нибудь да проклянется. Сергей не сказал ей, не признался, что перед самым ее отъездом с заводом у него кончено – кранты! – и возврата туда нет; теперь уж точно нет, после встречи с Окуневым. Да катись всё к чертям собачьим! Перетерпим! Ему хотелось обзабыться, помечтать, отвлечься чем-то светлым, хотя бы воспоминаниями из детства, когда на тот же улузовский затон ходили ватагой пацанов купаться и по вечерам подглядывать из кустов, как взрослые целуются... Но хватало таких воспоминаний на несколько шагов. Безденежье гнётно возвращало в сечашнюю минуту, скребло, будто какая-то главная железа внутри организма воспалилась.

Полог неба был пасмурен, туманен, лишь с малыми клочками синевы. Солнце поживело, но еще не раскошегарило весну, таилось в основном за тучами. Ветер с реки, с заречных полей был прохладен и будто бы сер по цвету. Здесь, на малолюдной, почти пустынной набережной, положение какой-то потерянности и безнадежности становилось еще ощутимее. Казалось бы, Сергею Кондратову в таком положении надо как волку рысачить по конторам, выгадывать себе новое место, но он зашел в одну фирму, стыдливо помялся перед худосочной соплюхой с напудренным носом, которая представилась: «директор по персоналу», и, не дослушав ее урок о составлении резюме, ушел как побитый; правда, наведаясь еще на биржу труда, то бишь николевскую службу занятости, посидел напротив очкастого, беспомощного инспектора

– мужичка пенсионных годов в пиджачке с залоснившимися лацканами («пока инженерных вакансий нету»), потыкался в доску с объявлениями и как будто перестал верить... Махнул рукой. Куда кривая ни вывезет!

Вдруг Сергей оглянулся: позади – никого. Впереди тоже ни одного близкого встречного. Резко повернул к березе. Две пустые бутылки лежали горло к горлу, плечо к плечу, как двое друзей, которые, может быть, недавно и похмелились тут, под белостолой. Озираясь, Сергей быстро сунул бутылки в авоську и быстро стал возвращаться назад, чтобы забрать и ту порожнюю посудину, которой прежде побрезговал. «Уж до кучи! Раз пошла такая пьянка!» – кому-то стыдливо и самоиронично признался он.

Когда Сергей ступил в улицы старого города, в авоське у него тихо позвянькивало пять пустых бутылок. Невдали от продмага, у перекрестка, где полудней, громоздились стопкой пустые ящики, рядом с ними – приемщица стеклотары, баба в толстом пальто, в полушалке, в валенках с калошами. Наряд для такой работы подходящий: не гляди, что весна, поторчи-ка целый день на улице!

– Посуду-то принимаете? Почему? Темная у меня!

Баба в толстом пальто живо оглянулась на приветливый голос. Она сидела на ящике и, пристроив на коленях газету, зажав в грязной белой перчатке карандаш, разгадывала кроссворд.

– По рублю, Сережа, как у всех.

– Танюха?!

– Она, как видишь.

Откуда-то с небес, с планеты юности, свалилась одноклассница Татьяна. Они не видались с ней почти со школьной скамьи.

«Таня, Танечка, Танюша...» – то ли песенка такая была, то ли присказка, то ли зачин стишка, так славно подходившего к Таньке. В ту пору у девчонок в моде были мини-юбки, стрижки «под Гаврош», а любимая дворовая игра – бадминтон. Сергей с Танькой этой игре столько времени отдали! Даже не общий школьный класс и бывалое соседство по парте, а легкий воланчик, что порхал от ракетки к ракетке, прочертил траекторию доверия, сдружил их.

...«Какой она телочкой стала! Я целячок ей попорчу. Таньку обую!» – при свидетелях порешил вор, по кличке Кича. Он только что отмотал пару лет срока, вышел с зоны и, увидев уже повзрослевшую Таньку – подкрашенную, в короткой юбчонке, – запал на нее с алчным похотливым прицелом. У никольской шпаны Кича был в фаворе: за плечами геройская биография – посидел и на малолетке, и на взросляке, фирменные тюремные татуировки на теле, а в кармане всегда – финка. Сергей с хулиганской братией компанию не водил, но про аппетиты Кичи был наслышан: слухи доходили от ровесников, и сама Танька горестно намекала: охотится, мол, за ней... Заступников у Таньки не находилось: ни старших братьев, ни влиятельной родни; отец-инвалид, полусвихнутый пьяница, и мать – уборщица из заводской столовки. «Я Таньку все равно обую!» – щурил злые масляные глаза Кича. Он не только посягательством, но уже одним своим бандюжеским видом – коротко стриженный, с блатным пробором посередке, бровью, пересеченной шрамом, татуированными кольцами на пальцах – наводил на окрестных парней и девок страху. «Не обуешь, гад!» – решил для себя Сергей. Решил после того, как Танька призналась ему: «Он вчера меня в сарай затащил. Руки полотенцем хотел связать, чтоб следов не было. Стал издеваться. Приставал. Говорит, давай по-хорошему... Еле вырвалась. А в милицию потом не пойдешь. Ведь потом все пальцем тыкать станут...» – «Ты не реви, Танюха. Я чего-нибудь придумаю». – «Чего ты придумаешь?» – «Чего-нибудь».

Придумал. Подстерег Кичу и не грубо, но твердо сказал: «Ты Таньку не трогай. Я парень ее...» – «Чего? Откуда ты выполз, шнурок?» – «Ты Таньку не трогай! Я... я жениться на ней буду... Она невеста моя. Не трогай». Сам Кича возиться с Сергеем не стал: шестерки из мест-

ной шпаны по наущению Кичи выбили Сергею зуб, а уж синяков на теле у него оставили не счесть. Но разговор подействовал: Кича не наглед, Таньку пожирал глазами, над «женихом» глумился, но рук к чужой невесте больше не тянул. А Сергей с тех пор усердно играл роль жениха, всегда провожал Таньку по темной поре и после танцев до дому, до самой квартиры. И ни разу не поцеловал.

Зато в июньскую вдохновенную ночь школьного выпускного вечера Танька зазовет Сергея в дом своей бабушки, где бабушка-то как раз и не находилась, обовьет его шею руками, прижмется всем телом к нему, неумело-страстно, по-девичьи, зашепчет горячим шепотом: «Слышь, Сереженька, полюби меня. Я тебе по праву досталась. Если б не ты, Кича бы не отстал... Ты меня спас. Парня любимого у меня все равно нету, а ты друг. Навсегда мой друг. Будь моим первым...»

Голос Таньки дрожал, и оттого еще соблазнительней были ее неловкие объятия. Сергей покраснелся, чувствовал, как кровь ударила в виски, пульсирует, отдается во всем теле. Но нахлынувший плотский жар оборол. Стеснительно отодвинул от себя Таньку: «Неправильно как-то. Любимого парня, говоришь, у тебя нет... Меня отдаривать не надо. Я тебе от чистого сердца хотел помочь. Не надо платы... А любимого парня ты еще встретишь. Обязательно встретишь». Так они и расстались, в чем-то друг друга не поняв. Сперва на несколько дней. А спустя полгода – почти на два десятка лет.

Любимый парень для Татьяны ждать себя не заставил. В военную комендатуру Никольска приезжал молодой лейтенант на стажировку, он и стал любимым. Скоро Татьяна махала косынкой с подножки поезда остающемуся Никольску: женой офицера отправлялась в дальневосточный приморский гарнизон.

– ...Так и мотались по воинским частям. Приморье, Средняя Азия, Кольский полуостров... Потом армию стали душить. Кругом бедность, разор. Муж уволился, подался на свою родину, в Рязань. А я – сюда, на свою малую родину. Разошлись мы с ним. Закладывать он стал сильно, руки распускать... Дочка выросла, в Питер уехала, в колледж поступила. А я здесь. Домушку вон на окраине купила. Там и живу. Специальности у меня – никакой. Вот бутылки принимаю, да и то иной раз просчитываюсь... Я уж видела тебя, Сережа, однажды. Ты с женой и дочкой недалеко отсюда проходил. Я не окликнула, постеснялась. Жизнь-то меня не шибко украсила. – Татьяна усмехнулась, развела руки: дескать, вот погляди-полюбуйся: какова клуша накутанная. Поправила на руке порванную перчатку, из которой высовывался средний палец с розово накрашенным коротким ногтем.

– Все такая же, – приободрил Сергей. Но вслед комплименту подумал в противовес: «Небось, помотало тебя в жизни, Таня, Танечка, Танюша». Стало почему-то очень жаль ее, потолстевшую, подурневшую, однокашницу и партнершу по бадминтону, названную невестой. Жаль – словно опять посягал на нее циничный блатарь Кича.

– Давай, Сережа, бутылки-то. – Татьяна расставила в ящике посуду, отсчитала деньги.

– Ураган был, как ты? Дом не нарушило? – спросил Сергей, уводя разговор от посуды.

– Ветрище дул, думала – снесет, – рассмеялась Татьяна. – Полечу, как та девочка из сказки...

– Элли из Изумрудного города.

– Ты все помнишь. Недаром хорошистом в школе-то числился.

– Я недавно эту сказку дочери читал. Она любит сказки слушать.

Неловкая пауза в таком общении была запланирована. Казалось, можно было говорить и говорить, рассказывать да вспоминать, но что-то говорило за них помимо слов; взгляд, наитие без объяснений открывали подноготную давно не видевшихся людей и встретившихся нежданно у пустых ящиков под посуду. Сергей кивнул головой, простился. Татьяна помахала ему рукой вослед и опять села на ящик, склонилась над газетой с кроссвордами. Но карандаш брать не спешила.

6

«У кого про что, у вшивого всё про баню. Опять они про масонов...» – догадливо усмехнулся Сергей, издали разглядев дружескую пару.

Для Сан Саныча и Лёвы Черных, словно утешливая погремушка для младенца, словно сортовой табачок для заядлого курильщика, был любимым и неотвязно прилипчивым спор о евреях. С полуоборота, с полунамека, даже с полуйскры – по веянию каких-то трудно уловимых ассоциаций возгоралась эта неисчерпаемая «русская тема».

Нынче спор обуял их перед домом Сан Саныча, на лавке, у палисадника. Они сидели после восстановительных работ: только что устлали новым рубероидом сарай, кровлю которого истрепали недавние ливни.

– Крути не крути, факт неоспоримый: евреи самый умный народ. В них генетика живучести, сионская солидарность. Только такая сильная нация, не находясь на вершине политической власти, смогла взять в свои руки капиталы Америки. – Слова Сан Саныча звучали убедительно, плотно и, казалось, малой щелочки не оставляли для возражений. – Про наши деньги и говорить не приходится. Обставили нас в два счета.

– А вот не хренчики ли им! – сложив из веснушчатых пальцев кукиш, язвительно и весело сказал Лёва. Маленького роста, конопатый, с отчаянно рыжими курчавыми волосами, остроязыкий визави Сан Саныча никогда не уступал. – Они в революцию семнадцатого года тоже думали: уж всё! Всё в их власти! Губёшки-то раскатали. Да ведь перышки-то Сталин пообщипал! – Лёва расхохотался. – Чем больше сегодня нагрешат, тем больше завтра и спросится.

– Всё мы какими-то глупыми мечтами тешимся. Всё о небесном возмездии мечтаем. Не для себя – для соседа! А достойная жизнь мимо нас проходит, – пессимистично возразил Сан Саныч. – Даже свой талант приспособить во благо не можем. Вот поэтому старые гнутые гвозди правим, чтоб крышу отремонтировать... А в них – вековая культура, народ Книги. Талантливы как черти, трудолюбивы как муравьи. И пить умеют.

– Тут угодил ты в самую суть! – обрадовался Лёва. – Закусывать они могут умеючи. А про таланты я не согласен с тобой, Саныч. Талант таланту рознь. В них талант узенький. Широты в них нету, удали. У нас гений кто? – Лёва, вытянув рыжий ёрнический нос, заглядывал в глаза Сан Санычу. – У нас гений Федор Иванович Шаляпин! А у них – Аркадий Райкин. Певец и паяц. Чувешь разницу? Или художники. У нас Васнецов с «Богатырями». У них Шагал – с синим петухом, похожим на осла. – Лёва рассмеялся, устрашительно потряс указательным пальцем: – А финансовая власть для них – способ выживания. Защитная реакция организма! Как панцирь для черепахи... Кровь из носу – стань богатым! Чтоб оградиться от мира, чтоб спастись. Всеми щупальцами к деньгам! Евреев-то без денег давно бы смяли. Как эскимосов каких-нибудь или индейцев. Загнали бы куда-нибудь в резервации, подальше. В Биробиджан... А много ли их там, в Биробиджане-то? Знаешь?

Взбалмошный Лёва наседавал коршуном, не скупился на восклицания, смачно сдабривал речь издевочным хохотом.

– Вот ты нам скажи, Серёга, – издали обратился Лёва к идущему к ним Кондратову, – у вас на погранзаставе, когда служил в Забайкалье, евреев много было?

– Да я уж тебе не один раз говорил, – усмехнулся Сергей, протягивая руку раззадорившемуся Лёве и распалившему его Сан Санычу. Сел с ними на лавку, закурил.

– Вот и в Афгане наших семитов я не очень разглядел, – продолжал Лёва. – Журналюга один из Москвы прилетал, помню. Всё у бэтэра фотографировался. А среди солдат – не встречал. Потому, Сан Саныч, нету никакого животного антисемитизма. Антисемитами не рождаются!

– Завтра на завод новый директор приезжает, – вступил не по теме в разговор Сергей, обращаясь к Лёве. До недавнего дня Лёва Черных тоже работал на заводе снабженцем-экспедитором, покуда и его непоседливая деятельность оказалась не востребована. – Мужики у проходной собраться хотят. Вроде пикета. Потолковать с новым начальством. Придешь?

– Чего с ним толковать? Какой-нибудь еврейский олигарх завод давно уже прицапал. Свою марионетку сюда шлет, – живо отозвался Лёва. – Завод уж мертв. Пустят здесь линию по производству водочки. Пущай русский мужик поскорей спивается да подыхает. Современные шинкари... – Лёва еще туже завязывал русско-еврейский узел. На любое объективное или адвокатское по отношению к евреям возражение Сан Саныча наускакивал огненно-рыжим ястребом, одетым в солдатский камуфляжный бушлат.

Сергей слушал Лёву вполуха: слыхивал он от приятеля уже много юдофобских рассуждений. Только проку-то! Собственную дурость на другого не перевесишь. От хулы в кармане не прибавится.

– Олигархи не на пустом месте рождаются. Горбачев, Ельцин, Черномырдин, – подбрасывал угольку в прожорливую топку неиссякаемой темы Сан Саныч, – по национальности – славяне. У них в руках все бразды. Во всех губерниях, во всех почти городах – губернаторы и мэры русские. Русские в России правят, так почему...

Лёва не давал досказать, злоехидно подхватывал:

– Русские правят, да не русские заправляют! Все еще по ленинскому принципу живут. Демократы, а расклад – большевицкий! Коль начальник русский, заместитель должен быть еврей! А если главный – жид, в замы ему – славянина сунуть!

– Ты больно-то не шуми, – приосадил Сан Саныч, оглянувшись по сторонам.

Лёва от смеха затряс курчавой головой:

– Вот оно как! Матерись из души в душеньку – никто тебя не остановит. А скажи слово «жид» – как шилом в зад!.. А в книгах почитай. Такое понапишут – сблюешь. Матюгов – хоть лопатой гребни. Но попадись «жид» – тут сразу вся интеллигенция на дыбы. – Лёва не усидел на лавке, вскочил, язвительно метал копьё в Сан Саныча: – У тебя в школе детки матюжок из трех букв нацарапают на стене – ты как директор завхозу прикажешь: стереть! А ежели вот «жид» напишут – целое, поди, расследованье устроишь. Кто написал? Да еще дойдет до прессы. Набегут дураки из газет. С ними какой-нибудь подлец с телевидения.

– Ты мне на большую мозоль не наступай! – строго прервал его Сан Саныч. – Я теперь не в школе!

Школьная директорская стезя Сан Саныча оборвалась недавним горьким уроком. Шов – ручная штопка – на чулке учительницы географии сыграл роковую роль...

Окончив педагогический институт, Сан Саныч без малого десятков лет оттрубил у школьной доски, пища на ней физические формулы; потом пересел на директорский стул. Почти столько же лет занимал он хлопотливую должность, покуда «дикость», какая-то «мамаевщина», безумствующий «вал грабежа и беззакония» не оплеснул развратом и пошлостью даже «российское святилище» – школу. Такими словами начинал Сан Саныч письмо в Кремль. Сам не виновен, но переполнял стыд за учительские невыплаты зарплат, а тут заметил еще, что у географички, чистюли, аккуратистки – штопанный шов на чулке: выходит, совсем без денег сидит... Учитель, так почитаемый в провинциальных городах издревле, оказался преданным и оскорбленным, писал дальше в своем послании Сан Саныч, сам по духу человек просвещения, отец троих детей, являвший здравость рассудка и сдержанности. Нельзя унижать учителя беспросветной бедностью и отвращать от школы ученика, адресовал он свою боль к российскому «царю» в высокие кремлевские палаты. Но письмо, споткнувшись об администрацию президента, угодило в Министерство образования, оттуда – вниз, в облоно, а потом – и в Никольск, обойдя проторенный чиновный круг. Дело кончилось скандалом. В местной администрации

Сан Саныч в сердцах написал заявление. Теперь он зиму отработал охранником в автосервисе по починке иномарок, хозяином которого был его давнишний ученик.

– Пойду к Борьке Вайсману, – выпалил Лёва, запахиваясь армейским бушлатом. – У него ураганом антенну-тарелку сорвало. Надо помочь.

– Ну вот, – без укоризны укорил Сан Саныч. – Тоже мне антисемит. Чуть что – еврею плечо подставлять.

– Русские антисемиты – самые добрые антисемиты в мире. Да и что с еврея взять? Он ведь в России без русского как дитя. В шахту не полезет. Лес валить не станет. В армии служить не захочет. Землю пахать не сможет. Водопроводный кран и тот не починит. Только на скрипках играть, рожи в телевизоре корчить да пером по бумаге скрывать, вроде того же Борьки Вайсмана. Правда, зубы еще рвать умеют. Не отымешь. – Лёва рассмеялся и рыжим крапчатым кулаком потер свой нос.

Когда Лёва ушел, на лавке, у серого, так еще и не просохлого штакетника, под голыми ветками старой высокой рябины, где остались свояки Сан Саныч и Сергей, стало как-то пусто-вато, невесело; шумный хохотливый Лёва в их компании стоил троих.

Деревянный рубленый дом с мезонином, обшитый доской, смотрел в улицу тремя тускло отсвечивающими свет неба окнами. Окна – в резных наличниках, расщепившихся, обветшалых, потерявших кое-где свои пиленые загогулины. После ливней и свирепых ветров дом, казалось, насквозь промок: и по фасаду, и по бокам темнели сырые разводы. Шиферная кровля все еще оставалась намокшей, серой, лишь новые листы белели квадратными заплатами. Выделялись на сарае и свежие белые рейки, прихваченные к крыше поверх нового, стеклисто отблескивающего рубероида. И Сан Саныч, и Сергей время от времени оборачивались на дом, вероятно, подумывая о чем-то о хозяйском, но ни о чем покуда не говорили.

В воздухе появился горьковатый дух. Из трубы дома заструился дым. Должно быть, печь затопила старшая дочь Сан Саныча и Валентины. Еще у них росло двое близнецов-парней, которых к печке пока не допускали.

– Деньжонок одолжи, Сан Саныч, – виновато произнес Сергей. – На заводе обещали, да вот опять не выплатили. Я в общем-то знал, что не выплатят. Но Маринку перед отъездом расстраивать не стал. Думаю, перебьемся тут с Ленкой. А то и, глядишь, работу какую-нибудь присмотрю... Мне немного. На хлеб.

– О чем речь. Только у самих денег-то – шиш с маком. Непогода вон еще на ремонт отняла... Спасибо Валентине, она на своем молочном комбинате без дела не сидит. У них простое не бывает. Люди работать перестанут, а есть не перестанут. Из ее заначки выжу... Смотрю, авоська у тебя из кармана торчит. Картошки набрать?

– Набрать, Сан Саныч.

– Моркови, свеклы тоже положить?

– Положи, если уцелела после потопа.

– Уцелела. Пойдем в дом. По стопке самогоночки дерябнем. Я вчера свеженькую нагнал, с рябиной. Что-то промерз на ветру, – сказал Сан Саныч, поднимаясь с лавки.

– Не откажусь.

Идя ко крыльцу, Сергей подумал с какой-то особенной, опасливой грустью: «Надо же – Сан Саныч самогонку стал гнать. Когда учительствовал, такого не бывало. Директор школы, всегда в галстук, на виду. Всем пример. А тут – самогонка. Что-то и впрямь в России сдвинулось. Будто туча над всеми зависла. Заводы закрываются. В Чечне работорговля. В Кремле – то пьянка, то болезнь...»

Невеселые раздумья Сергея словно бы услышал и перебил их бодрительным словом Сан Саныч:

– Ничего, Сергей, наши предки не из таких ям выбирались, – он по-братски положил ему на плечо руку. – Спасенье русскому человеку не в деньгах искать надо. Денег у нас всегда не

хватало и не будет хватать. Спасенье в чем-то другом. В духовной открытости, может... Весна вон на дворе. А мы ей порадоваться забываем.

Между туч пробивалось солнце. Косые столпы желтого солнечного света обрушились сейчас и на старый город.

– Весну никто не отменит. Это правда, – улыбнулся Сергей.

Предчувствие близкой выпивки и грядущего вместе с нею благостного тепла тоже скрашивали уныние. Выпьешь рюмку-другую – и, глядишь, распрямится душа!

* * *

Вечером, по ходу обыденных хлопот и семейных разговоров, Сан Саныч насторожил жену вопросом:

– Валюша, ты верно ли сделала: путевку-то Марине навязала? Может, самой надо было поехать? Я говорил...

– Куда бы я поехала, когда дом залило? У детей сухого нечего было надеть. Половицы хлюпали. Полкрыши снесло. А я бы поехала... – с нотками возмущения откликнулась Валентина. – Пусть хоть Маринка отдохнет, полечится.

– Разве ж я против? Просто к слову пришлось... Сергей сегодня приходил. Смурён больно. На работе у него нелады, а тут еще и она уехала. Даже в фигуре у него что-то сутулое появилось. Как побитый ходит.

– Ничего, перебьется. И Ленка, считай, уже подручница, – живо откликнулась Валентина. – Пусть Маринка на море посмотрит, а то всё среди кривых заборов...

На этот короткий неприятельный разговор вскоре наложились другие, праздные и не очень праздные, но мысли о младшей сестре застряли у Валентины в мозгу где-то особняком. Она то и дело вспоминала Марину.

В годы сиротства, после ранней кончины отца, а потом и безвременного ухода матери, Валентине часто становилось жаль, очень жаль, до боли в сердце жаль младшую сестру. Себя она не жалела, выросла, считай, уже, на работу определилась, а вот Маринка – ведь девчужка еще, ей-то без отца-матери каково? – да и рассеянная она к тому же; печь, бывало, затопит, а вьюшку открыть забудет; дым в горнице – закашляется, глаза от слез блестят, трет их кулачками... Или, бывало, Валентина с полочки купит ей альбом для рисования и акварельные краски, а Маринка в тот же день, за один вечер, изрисует весь альбом от корки до корки – морями и парусниками разными, звездами и планетами необычными; Валентине немного жалко денег, отданных за альбом, альбом-то уж и кончился... но сестру она никогда не упрекала за такое искусство, да и запах акварельных красок ей самой очень нравился. На похоронах матери она дала себе слово: ни у кого не прося подмоги, поднимет сестренку, оденет-обует не хуже других и даст ей образование. Высшее – не получилось, но строительный техникум Маринка окончила под опекуном Валентины. А как ликовала сестренка, когда Валентине удалось взять ее с собой в неожиданно подвернувшуюся турпоездку на теплоходе до Волгограда! Даже ночью, казалось, Маринка любовалась на реку, не смыкала глаз и не отрывалась от иллюминатора (ехали в третьем классе, в трюме, там не окна – иллюминаторы). На судне Маринка признакомилась и подружилась с каким-то черноголовым мальчишкой, – оказалось, цыганенок, едет с табором куда-то под Астрахань; Валентина глаз с сестры не спускала, боялась: вдруг цыгане заманят, околдуют доверчивую девчуху, украдкой увезут с собой...

Весь нынешний вечер Валентина, нечаянно растревоженная мужем словами о Марине, цеплялась умом за дни сестринского взросления.

А замуж за Сергея Кондратова отдавала? Считай, ревела взахлеб. Будто мать отпускает на далекую чужую сторону единственную кровинушку дочку.

7

У заводской проходной с пустыми кабинками вахтерш и запертыми вертушками толпился народ. Преимущественно – мужики. Женщин немного. Да и они, неброско одетые, почти не выделялись из мужиковой массы, серовато обряженной в темные – синие, черные, коричневые – куртки, темные кепки, спортивные вязаные темные шапочки на один фасон. Народу, вероятно, собралось бы и поболее, но некстати прыснул дождь. Дождь совсем слабенький, морось, но и от него всё вокруг – волглое, отяжелевшее. А укрыться негде. Проходная за спиной людей была заперта: малый, оставшийся заводской персонал попадал на производственную территорию через соседствующий административный корпус. Сюда и должно было подкатить новое начальство.

Сборище у завода, кое-где прикрытое пестрячими женскими зонтами, было полустихийное, единой организующей силы за народом не стояло, но тем не менее к заводским воротам клейкой лентой были прилеплены два бумажных плаката: «Отдайте наши деньги!» и «Ваш капитализм – дерьмо!» Плакаты были написаны корявенько, возможно, ученической рукой, красной гуашью, которая уже кое-где размокла и потекла красной слезой. Кто-то написал от руки, наскоро, и текст петиции к местным властям. Это ходатайство передавали друг другу, подписывали, хотя в большинстве своем люди понимали тщету данной бумаги.

В действенность митингования мало кто верил: митинги и даже забастовки на заводе уже случались, только не давали рабочему люду желанного результата. Теперь люди шли в пикетчики «так», для собственного успокоения совести или по любопытству.

Сергей Кондратов тоже очутился здесь почти без толики надежды. Трезво он уже распенил: былomu производству – хана. И прежде-то оборудование нуждалось в замене, модернизации, а теперь, в бездействии, всё старилось втрое быстрее, всё ценное разворовывалось, снималось, отвинчивалось... Сергей даже не судил себя за учиненный вандализм в измерительной лаборатории.

– Вишь, взялись Россию бизнесом проучить. Везде только и слышишь: бизнес, бизнес, бизнес...

– Прихвостни американские! Всю страну хотят в мешочников превратить.

– Лысый перестройщик заварил. Теперь весь простой народ на воров работает.

– Этой власти русский народ не нужен. Чем больше помрет, тем больше им нефти достанется.

– Молодежь наркотой травят. Девки проституткам завидуют. Разве такие к станку пойдут?

– Беспризорников стало – как в гражданскую.

– Сейчас и так гражданская. На одного новорожденного двое мертвецов.

– Верно. Бабы рожать не хотят.

– Чем детей-то кормить?

Разговоры среди людей вспыхивали короткие, обозленные. Ядовитые восклицания сыпались адресно во власть или безадресно, на любого. Однако почти без матюгов, редко где-то сорвется... (мужики помнили о женщинах).

Одну из женщин, в синем берете и темно-зеленом дешевом пуховике, которыми на никольской барахолке торговали вьетнамцы, Сергей хорошо знал по работе в цехе. Фрезеровщица Лиза. Он очень редко разговаривал с ней, только здоровался. Говорить с ней было трудно: она заикалась, тянула слоги, подолгу одолевая некоторые буквы. На станке она выполняла однообразную и монотонную работу: брала заготовку – маленький металлический стержень, крепила в приспособлении, фрезой протачивала канавку... И так много-много-много раз в смену. И так изо дня в день. Как автомат.

Рядом с Лизой вертелся Юрка, сын, мальчишка лет двенадцати. Почему-то он был здесь, а не в школе. Правда, все знали, что мальчонка этот – сорвиголова, школу недолюбливает и на взрослой стачке ему, видать, интереснее.

– Гляди-ка ты! Лёва Черных с флагом чешет!

По толпе прокатилось оживление. К заводу приближался Лёва, высоко подняв на тонком древке красный стяг. Простоволосый, со встрепанной рыжей шевелюрой, в расстегнутом пятнистом бушлате, он вышагивал решительно, широко, театрально. Рядом с ним, поспевая, посмеиваясь, поблескивая золоченой оправой очков с притемненными стеклами, двигался корреспондент местной «Никольской правды» Борис Вайсман – в черном кожаном пальто, в клетчатом кепи, с кейсом на наплечном ремне.

– Тобахрищи! Только новая пхролетахрская хреволюция освободит храбочий класс от ненавистного капитала! – картавя, поддельваясь под Ленина, митингово проголосил Лёва. – Тобахрищи! Наша судьба в наших хруках! – И он высоко загундосил пролетарский гимн «Интернационал», тверже обхватив руками древко пролетарского стяга:

Вставай, проклятьем заклеименный
Весь мир голодных и рабов...

На его игру кто-то ответил смехом, кто-то потешливыми улыбками, а кто-то в толпе крепче обозлился.

– А вот ты скажи, братец журналист, ты должен знать, в газете работаешь, – басовито заговорил невысокий круглолицый толстяк по прозвищу Кладовщик, в телогрейке и в маленькой замызганной шляпе, обращаясь к Вайсману. – У нас в стране сейчас революция – не революция, война – не война. Бардак, одним словом. А в других странах? А? У нас же продукцию двадцать стран закупало. А? В ихних-то государствах тоже чубайсы до власти дорвались? А? Пошто вдруг ничего нашенского не нужно стало? А?

Борис ничего не отвечал, усмехался, посверкивал златом очков: не понять, что там у него в глазах, под затемненными стеклами. На вопрос Кладовщика откликнулись другие. По толпе опять шла волна отрывистых реплик.

В одном из окон заводоуправления, на третьем этаже, Сергей заметил Окунева. Тот сверху наблюдал за бывшими заводчанами и, похоже, тайлся: вплотную к окну не подходил. «Я ему в институте диплом помогал писать, хмырю. Теперь вот по разные стороны баррикады...» – мимоходом подумал Сергей.

Тут люди загомонили:

– Едет!

– Точно – едет!

– Вон она! Черная «Волга» поворачивает.

– Из Москвы, говорят, прибыл.

– Уж лучше б кого-то из своих выбрали.

– Верно. Московские-то говнисты.

– Немца бы нам из Германии выписать...

В сером туманце мелкого дождя по дороге, ведущей к заводу, катила черная машина. Чем ближе была ее блестящая никелем «морда», тем меньше в толпе оставалось слов. Наконец люди и вовсе смолкли и слегка расступились, чтобы уже заплакавшие красные лозунги на воротах были видны подъезжающему начальству.

Черная «Волга» остановилась перед собравшимися, не стала пробиваться к парадному входу администрации. Директор, вероятно, избегать народа не хотел. Но сперва из машины вышел коренастый белобрысый парень, по всему видать, охранник; быстрым прожорливым взглядом окинул толпу; обернулся, что-то сказал шоферу и лишь тогда открыл заднюю дверцу

машины. Спокойно и чинно, будто толпа ждала его для приветствий, из машины выбрался немолодой, пегий от седин в волосах, но еще пружинно ступающий на землю человек. Одет он был с лоском: в черный костюм с мелкой серой строчкой, в крахмально-белую рубашку и красный шелковый галстук с золотистыми ромбами. Охранник шел рядом, чуть впереди директора.

– Чего бунтуете, мужики? Здравствуйте! – просто, без казенщины и заигрываний обратился он. Доброжелательным трезвым тоном сразу поколебал настроение толпы, поумерил негодования.

Чувствовалось, что человек этот тёрт, в нем нет амбиций и резонерства молодых экономистов, которые мусолили в телевизоре. Но и чиновную сытость он с лица припрятать тоже не мог.

– Работы хотим! Мы не бездельники – рабочий класс!

– Почему старого директора убрали?

– Зачем производство остановили? Полгорода на заводе держалось!

Выкрики раздались с разных концов толпы. Люди невольно приближались к директору. Он и сам сделал шаг навстречу.

– Насчет работы... Так я и приехал, чтобы заново организовать рабочие места... Прежнее руководство освобождено не мной. По решению собрания акционеров, куда входят и ваши представители... А продукцию – сами знаете! – повысил он голос, – завод выпускать дальше не может. Такое качество рынок не примет. Конкуренция...

– По кой хрен он сдался, этот рынок! Все от него страдают!

– Раньше тоже конкуренция была. Мы на Запад работали!

– Зачем завод рушить? Ваш капитализм – людям смерть!

Директора перебили. Но он ничуть не смутился, спокойно выслушал поперечников, приспустил на толстой шее галстук, усмехнулся с хитрецей. Ответил резонно и вопросительно:

– Разве не мы с вами выбрали этот строй? Мы все! Не поодиночке... Я коммунист. Я не жёг партбилета. Я всегда голосовал за коммунистов. Поэтому капитализм не мой. Наш! Общий! И если мы в нем оказались по собственной воле, то надо спокойно преодолевать кризис. Во-первых, надо...

Директор, загибая пальцы, начал перечислять безотлагательные дела, которыми намерен заняться, «опираясь на коллектив». Толпа, притихнув, слушала его дельную речь. Казалось, конфликт плавно перейдет в увещание и каждый из собравшихся найдет в этом свою кроху надежды. Люди еще плотнее стали вокруг директора кольцом. Топчась, переместились к нему еще ближе. Охранник заметно нервничал и оттеснял самых первых.

Сергей рассеянно прислушивался к начальственной речи, непроизвольно наблюдал за фрезеровщицей Лизой. Она стояла самая ближняя к директору (охранник ее не отодвигал, он теснил только мужиков) и, казалось, доверчиво, как ребенок, ловила все слова и даже дыхание. Она смотрела на него широко открытыми глазами, иногда подавалась чуть вперед, как будто хотела что-то уяснить, узнать о чем-то конкретнее. Но заикание онемляло ее. Эх, фрезеровщица Лиза! – попечалился Сергей. Со слов знакомых и он заглянул за ситцевую занавеску, где пряталась бабья доля...

Муж Лизы, водила-дальнобойщик, закемарил за рулем в ночном рейсе, мотанулся на «мазовской» фуре на встречную полосу и подмял неуильнувший «БМВ», летевший на пределе скорости. Из груды импортного металла спасатели вырезали автогеном два трупа. Долгие высадки дальнобойщику были по суду обеспечены. Но друзья несчастливцев из крутой иномарки вынесли вдобавок свой приговор: дом, в котором жила семья виновного шофера, обратили в собственность местных торговых азербайджанцев, а Лизу и Юрку-сына измудрились переселить, якобы временно, в комнату пустующего заводского барака, который давно определили под снос и уже оставили без воды и без газа – одно электричество. Нынче Лизу грози-

лись оставить и вовсе без света. Дом стал «ничей», завод отсекся от старой рухляди, снял со всех обслуживаний и списал со всех балансов. К тому же Лиза недавно овдовела. Муж умер от туберкулеза. Лиза честно билась за мужнину жизнь, возила на высылки кое-какие харчи и доступное лекарство, но заводской кормилец станок смолк, безработица вылилась изнурительным безденежьем, а безденежье для больного ссыльного мужа стало скорым плотником по изготовке деревянного бушлата.

Сергей с грустью поглядывал на бывшую заводскую фрезеровщицу в синем берете, когда поблизости раздался веселый голос Лёвы:

– Слышь, Серёга, как мужик лепит. Будто Мишка Горбатый в свое время. Пятно бы ему еще на плешину...

– Я тоже из рабочего класса... – доносился голос директора.

– Что-то не похоже. А, братцы? – прогудел где-то в толпе Кладовщик. До директора его слова не дошли, но окружающие бас бывшего работяги из заводской литейки разобрали. – Такую холеную рожу у мартена не встретишь. Даже слесарей таких не бывает. А?

Мужики поблизости – одни рассмеялись, другие сильнее насупились. По толпе опять прокатился беспокойный ропот. Люди стали перешептываться. Речь директора тускнела. Первоначальный запас доверия к нему усыхал.

– Я всегда оставался на стороне рабочего класса...

– Эй, коммунист! Деньги нам на зарплату привез? – выкрикнул Лёва.

– Всем сейчас нелегко! – твердо, с грозной ноткой ответил директор на выпад.

– Кому это всем? – Лёва тоже в карман за словом не лазил. – Ты свою рожу в зеркале видел? Она у тебя шире, чем у премьер-министра!

– Вас про деньги спросили! – выкрикнул Сергей, серьезно и строго, чтобы не превращать рабочий сбор в фарс. – Деньги привезли для расчетов? Заработанное людям отдать?

– Я уже ответил. Всем сейчас нелегко... Деньги мы должны с вами заработать!

Тут случилось то, о чем никто не мог и подумать. Лиза, стоявшая рядом с директором, видать, яснее осознав его слова про деньги, вся побелела, губы у нее задрожали, глаза сверкнули безумным блеском. Она резко, неожиданно – пантерой – кинулась к директору и вцепилась в его горло руками. Всё произошло так внезапно, что белобрысый охранник, опасавшийся ближних мужиков, Лизу проворонил. Люди в первых рядах непроизвольно колебнулись за ней и оттеснили охранника от его шефа.

Кто-то пронзительно свистнул. Толпа заколыхалась, заулюлюкала, враз налилась исступленным негодованием. Навалившись скопом, мужики и вовсе оттерли охранника от директора, а директора взяли в тесный кольцевой полон.

Кто-то пнул его, кто-то потащил за рукав. Другие пробовали остановить драку, тянули руки до Лизы, разнять... Зажатый со всех сторон, с ужасом в глазах, бледный, задыхающийся, директор хватал ртом воздух и пытался оторвать от своей шеи цепкие пальцы неистовой фрезеровщицы. Берет с головы Лизы сбился, упал, лицо уже играло малиновыми пятнами напряжения, из уголка рта сочилась слюна; ни крик, ни стон, ни слова, а какое-то шипение вырывалось из ее груди. На шее директора виднелись алые метины – свежие бороздки царапин, наполненных кровью.

– Суки! Предатели!

– Коммуняки продажные!

– У этих жирных быков всегда народ виноват...

– Бей новых буржуев, ребята! – задорный Лёвин голос озлобленно взбудораживал толпу.

Что-то азартное, веселящее было в этой потасовке.словно в детской игре «куча мала – не надо ли меня?». Но вместе с тем – отчаянность и беспросветье, словно и малый огонек надежды на работу, на заводской прибыток угас. У Лизы в приступе плача дергались плечи. Люди гудели как улей, облепив директора и что-то выкрикивая ему в лицо.

Вдруг громыхнул выстрел! Охранник, который метался посреди серой мужиковой плечистой толпы, не в силах пробиться к начальнику, выхватил из кобуры под пиджаком пистолет и пальнул предупредительно в небо. Все на миг ошалели, замерли.

– Расступись! Прочь! Отойдите! – прорычал охранник и ринулся напролом к своему подопечному.

– Пушкой людей пугать? Холуй! – выкрикнул возмущенно Лёва, сунул в чьи-то руки свой красный стяг и смело двинулся наперехват рассвирепелому охраннику.

Люди опять гомонили от возмущения и азарта. Лёва ловко пробрался к охраннику сзади, умело – не зря занимался единоборствами – врезал ему коротким ударом в бок, в печень, и заломил руку с оружием. Пистолет упал в лужу. Чтоб уж верняком обезоружить охранника, Лёва всадил ему ребром ладони по шее.

– Мужики, я его сделал! Я сделал этого козлика! – заорал он с победительным куражом.

Охранник после ударов Лёвы на землю не упал – всё ж молод и крепок, – но еле стоял на ногах, шатался, руками обшупывал воздух, глаза – пустые, водянисто-серые, взгляда в них нет...

К директору на подмогу бросился шофер из черной «Волги». Но только он зарылся в толпе, раздался новый грохот. Юрка, сын Лизы, большим обломком кирпичика саданул в заднее стекло оставленной начальственной машины. Водитель растерялся: куда? чего? за гаденышем-пацаненком бежать или к шефу на выручку? Или назад к машине, черный блестящий багажник которой посеребрило россыпью мелких осколков?

Вой милицейской сирены был истошным, обжигающим, продирает до костей. Быстро поспели. Словно наготове где-то прятались за углом. Милицейский «уазик» с мигалками и автобус ОМОНа.

Люди, кое-кто, кинулись врассыпную, от директора и охранника отступились, оставляя их потрепанно-побитыми посерединке при заводской площади. Кое-кто предпочел тут же и смыться – вдоль заводского забора. Но основной костяк плотной массой ополчился на растравленные сиренами и мигалками машины.

Милиция свою службу знала. Толпа не успела опамятоваться, как оказалась рассеченной, расколотой, парализованной напрочь. И уже не толпой, а жалкими горстками, на которые свирепо налетели омовцы в черной униформе с черными же дубинками, взвизгивающими над головами.

– Расходитесь! Назад! Всем назад!

В ответ – крики, женский визг, брань.

– Собаки! Сволота!

– На кого работаете? А?

– У-у, гады!

ОМОН с бунтарями чикаться не стал: кто угодил под горячую руку, того и попотчевали резиновой палкой. Тех, кто посмел сопротивляться, отпихиваться, вырываться или вздумал орать, как Лёва Черных: «Родной народ дубинами учить? Менты поганые!» – тех прибрали для каталажки.

Лёву арестовали не без потехи. Он кричал, бузотёрил, но когда его окружили трое омовцев, вдруг заулыбался и поднял руки вверх: «Всё, мусора, сдаюсь! Забирайте!»

Ошалелый омовец в каске накинулся и на Сергея Кондратова, толкнул локтем в грудь и при этом тупо орал: «Разойдись! Разойдись!!» Сергей не столько со злобы, сколько по инстинкту самозащиты, пропустил омовца мимо себя вперед, а затем, схватив его за рукав, сделал подсечку. Но потом всё вдруг скомкалось. Искры из глаз! Удар резиновой дубинки вдоль спины, так что концом прицепило и шею, обезмыслил, ослепил Сергея. Тут же ему заломили руки и потащили к автобусу. Всё мельтешило перед глазами. Над головой какие-то крики. Краем глаза он заметил главную бунтарщицу Лизу, она сидела у забора на корточках, косма-

тая, закрыв голову обеими руками. Еще в какой-то момент он увидел Окунева, который вился вокруг директора.

Скоро площадь перед заводской проходной, перед запертыми воротами и административным корпусом опустела. Плакаты на воротах еще сильнее расплылись и обвисли. Окурки, разбитое стекло, красный грязный стяг и синий берет, истоптанный, потерянный Лизой... Слабенький дождик, который был едва заметен на лужах, полегоньку зашлифовывал следы бесплодного противостояния.

8

Задержанные пикетчики томились в отделении милиции, в обезьяннике – в камерах с дверями из металлических решеток. К следователю для дознания и составления протокола вызывали по одному. По одному, с интервалами, отпускали и на волю, чтобы не провоцировать новое мужиковское скопище и возможную коллективную выпивку.

– Составишь, Костя, на меня эту бумагу, и чего дальше? – спросил Сергей, сидя в кабинете напротив следователя Шубина, старшего лейтенанта с аккуратными черными усиками и веселыми глазами. Шубин жил с Кондратовым на одной улице, с ним они водили давнее знакомство.

– Штрафу вам дадут, гаврикам, за нарушение общественного порядка, и всех делов.

– Где бы еще денег на штрафы-то взять?

– Подшабашить! – тут же ответил Шубин. – Я вот сейчас разберусь с вами, гавриками, бумаги допишу и пойду вагоны разгружать. У меня на станции вроде подряда, бригада грузчиков. – Он оторвался от протокола, который писал почти машинально, усмехнулся с хитрецей, так что один ус поднялся выше другого: – Я ведь недавно женился, Сергей. Еще года нет. Надо молодую красивую жену красиво содержать. Приодеть, мебелишки подкупить. И то хочется, и это надобно... Взятки я брать не умею, поэтому приходится пуп надрывать.

Сергей знал о том, что Шубин женился. Знал, что жена нездешних мест, из Самары, что нашел ее веселый старлей, будучи на курсах в ментовской школе. Жена у него – тут Шубин без приукраски говорил – молодая, видная: вишневые губы, глаза большие, черные, грудь пышная, бедрами заманчиво повиливает... Сергей ее несколько раз видел. Проходя мимо – невольно глаз косил, обегал фигуру снизу вверх. Бывало, и оглядывался с мыслью: «Ай да Костя, какую кралю отхватил!»

– Если хочешь, могу с собой взять, – сказал Шубин. – У меня новая бригада наклеивается. Штраф за пару вечеров отработаешь.

– Я бы рад, да твои костоломы дубиной меня огрели. Шея не поворачивается и руку поднимать больно.

– Что ж поделаешь – служба. Они бы с удовольствием дубинами других проучили. Но – увы, приказа нет... Кстати, там двое братьев было. Один – с завода, другой – из ОМОНа... Я вот тоже на работяг, на нищету, протоколы сочиняю. А ведь с вашего завода двести тонн титанового сплава за границу как металлолом продали. Мы ничего сделать не можем. Частная собственность выше государственных интересов! А проще сказать: шкурный интерес больше в чести. Распишись здесь. – Шубин пододвинул протокол на край стола.

– Трусливые мы, что ли, Костя? – склоняясь над листом, пробухтел Сергей. – Брат брата лупит. Титан вагонами тащат. Ты грузчиком халтуришь. Я инженер – в грош не ценен. Будто квартиранты в родной стране. А главное, не понять: за кем сила? за кем правда?.. ГКЧП был – пьяные да непутевые. В девяносто третьем – новая грызня. Против Ельцина – те, кто с ним раньше в обнимку шел... Ваучеры, инфляции, дефолт. В телевизор посмотришь – сплунуть хочется. А мы всё в стороне! Молчим. Боимся, выходит?

– Не забивай, Сергей, голову. Жизнь сама всё устаканит, – усмехнулся Шубин.

– Может, и устаканит. Только на нашем ли веку?

– На нашем! Конечно, на нашем! Целая жизнь впереди! – ответил безунывный следователь.

В кабинет порывисто, без стука, заглянул милицейский сержант с красным бугристым лицом:

– Тарищ старш летенант, юного мстителя поймали. Куды его?

– Какого еще мстителя?

– Хлопец. Стекло в «Волге» кирпичом хряпнул.

«Юрка!» – с какой-то горькой радостью догадался Сергей, вспомнив сына несчастной бунтарки Лизы.

– Прощу тебя, Костя, отпусти мальчугана, – заговорщицки обратился Сергей к Шубину. – Мы за себя постоять не можем, так за нас дети стихийно бунтуют... Отпусти без последствий. Матери его сейчас очень худо.

* * *

Мужики проявляли солидарность: дождались, чтобы из отделения выпустили всех заводчан, чтоб не оставили кого-то ночевать в кэпээшных покоях. Милиционеры тоже хотели поскорее избавиться от трудового класса, сочувствуя народному гневу под стенами одураченного завода.

Когда на свободу выпустили всех задержанных, в воздухе зависло решение: минувшее событие обмозговать и обмыть. Не всей бунтарской стаей, а разбившись на дружеские компании. Сергей Кондратов и Лёва Черных были званы Кладовщиком в гости. В сарай. Там у него было припрятано полчетверти калиновой настойки.

– Не хуже брынцаловки! – уверял Кладовщик, хотя никто таких уверений не требовал. Всем известно, что калиновую настойку Кладовщик делает на отличном муравьином спирту, который покупает в аптеке у родной сестры, фармацевта. – Запомните, братцы, похмелье не зависит от количества выпитого и от качества напитка. Если пьешь с порядочными людьми, то и похмелье не в тягость. А если с человеком дурным, то хоть ихнюю картину дуй, утром всё нутро извернет. Верно я говорю, братцы? А?

По дороге в сарай в компанию влился Борис Вайсман. Во время беспорядков и омовского наезда он растворился, исчез, занырнул куда-то в тину, как пескарь. Сейчас вынырнул. Как огурчик... Ни укоризны, ни обиды на Бориса, улизувшего от омовских клешней, мужики не испытывали. Беззлобно подтрунивали.

– Зря ты свинтил, Борька, – сетовал Лёва. – Ментам сунул бы в нос удостоверение «Пресса», они б и с нами поласковой обошлись. А тебя б никто и пальцем не тронул. На тебе, вишь, кожанка, очёчки золотые, кепочка клетчатая. Сразу понятно, что какой-то шиш с пригорка...

– Ихнего брата, папарацу, только тронь, – весело басил Кладовщик, поправляя на своей голове побитую молью шляпу. – Как в дерьмо ступишь. Таковую свободу прессе устроят! Все б и позабыли, зачем у завода-то собрались. А?

– Я из редакции, отписался. Про завод уже завтра в номере будет, – отрапортовал Борис.

– Всё по-честному написал? – спросил Сергей.

– Я лажу не гоною!

В словоохотливой четверке, идущей распивать калиновое зелье, Борис Вайсман лишним никому не казался. «Боренька, сыночек, ты на них не равняйся. Они мужики, русские. У них спиваться принято. А тебе так неприлично... – не раз, не два говаривала Борису мать, Полина Янкелевна, когда поутру сын отдирает от подушки чугунную с похмелья голову и нащупывает на тумбочке очки, чтоб нацепить на опухший нос. – Равняйся на папу. Он и повеселиться умеет, и выпить. Но чтоб по стенке ползти...» Семью Вайсманов занесло в Никольск по хотенью судьбы, которой распорядилось МГБ. В послевоенном сорок девятом рентгенолога Давида Вайсмана из Витебска объявили врагом народа. В послесталинском пятьдесят шестом он освободился из северных лагерей, выписал из Витебска свою невесту Полину и, ограниченный в желаниях по выбору места жительства, обосновался в ближнем Никольске, в старом городе. Здесь и родились дети. Младший из них – Боренька. Было время, когда семья Вайсманов, как все старогорожане, вела земельное хозяйство. Картошка, лук, чеснок, огурцы попадали на стол с соб-

ственных угодий. Борька и в юности, а позднее уж и тем паче, не терпел крестьянского труда. Лопаты чурался, окучник презирал, борозды с картошкой ненавидел. Но пить с соседскими парнями пивал иной раз до одурения, похлеще, чем исконный русский. Впрочем, мало кто из молодых собутыльников заострял его национальную особость. Все считали Вайсманов вполне обрусевшими. Разве что Лёва Черных мог вставить приятелю шпильку еврейским анекдотом. Но тот же Лёва выступал верным защитником и помощником Борису, ежели в том приспичивали обстоятельства.

... В сарае у Кладовщика мужики расселись кружком: на пустых деревянных ящиках, на перевернутом вверх дном ведре, на березовой чурке. Посредине на кирпичках – фанерина, на которой из мутно-зеленого стекла четверть с чайного цвета настойкой; граненые пожелтелые стаканы, буханка хлеба, банка с солеными помидорами и железная миска с мочеными яблоками. В сарае было сумрачно. Пахло дровами, старой овчинной шубой и отопревшей периной. Еще примешивался запах брошенной обуви и той металлической заржавелой рухляди, которую любят всякие сараи и чердаки.

Морозящий нудный дождь перестал. В квадратном оконце с полувыбитым стеклом виднелась поднявшаяся из-за реки оранжевая, с прозрачными материками, луна. Выяснело и похолодало. Хотя стоял апрель, но к ночи весеннее тепло вымораживалось, и порой лужи схватывались пузырястым ледком.

Холод не мешал: спирт с духом ягод калины действовал неотразимо, горячил кровь. Для освещения сарая Кладовщик зажег допотопную керосиновую лампу. Говорили многословно, с хмельным мажором, жестикулируя, дымя табаком. Малосильный свет керосинки метался из стороны в сторону между теней. Из стороны в сторону шатался и разговор.

– Директор этот – пешка. Чего он тут один переверотит? Всю страну надо поднимать, – говорил Сергей. – Лиза рожу ему поцарапала – это и нам в науку. Прорвало бабу. Всех бы нас прорвало – так бы не жили.

– Вот скажи, Серёга, ежели б тебе выпал случай расстрелять кого-нибудь из высшего руководства последних времен, – подкидывал задачку Лёва, – ты б кого кокнул? Я бы – жирного Гайдара! А ты б кого?

Сергей усмехнулся кровожадным фантазиям друга, но ответил всерьез:

– Я бы Горбачева расстрелял.

– На словах-то мы все храбрые, – заметил Борис.

– Точно бы расстрелял? А? – захотел увериться Кладовщик.

– Кого-то другого – не знаю. Но этого бы – точно. Прочитал бы ему собственный приговор – и все тридцать пуль из «акаэма» одной очередью.

Кондратов был неколебимо, как-то гранитно уверен, что разврат в стране зачал последний советский генсек, помеченный пятном на голове, будто дьявольским знаком. Он так же истово был уверен в том, что если б ему дали автомат, родной «калашников», с которым он не расставался, служа два года на границе, и вправду предоставили случай судить по указу собственной совести бывшего рокового правителя, он бестрепетно бы нажал на курок, стиснув зубы: «Это тебе, иуда, за разрушенную страну, за разграбленный завод, за пустые бутылки...»

– Пока америкашки нам дают кредиты и кормят своей гнилой курятиной, – хватал новую тему Лёва, – добра не будет. Они всем странам помогают: на гривенник добраца да на двугривенный говнеца.

– На Америку нечего пенять. Запад нас воровать у самих себя не учит, – говорил Борис. Дужки очков у него красновато блестяли от огонька керосинки, по стеклам шамански струился свет; от этого скользящего света казалось, что Борис пьянее, чем на самом деле. – У нас порядка нет... А весь прогресс в России так или иначе связан с иностранцами. Рюрики – чужеземцы. Екатерина Вторая – арийка. Петр Первый – весь онемеченный был...

– Ты еще хана Батыя назови! Борька, брось свою антирусскую пропаганду! – сжав кулак, устроил Лёва. – Твои ушлые соплеменники тоже жить нас учили. В революцию всю Россию кровью залили. Не один ты грамотный. Мы тоже солженицыных и шафаревичей проходили.

– Господь все равно на нашей стороне, – раздавался бас Кладовщика. – Я вот читал, братцы, от тепла скоро льды потают и земная ось под другим углом пойдет. И чего, думаете, будет? А? Будет потоп всей бесовской Америке. Это им Господь насылет за Россию мщение.

В дверь сарая кто-то негромко постучал. Разговор смолк.

– Кто там? А? – выкрикнул Кладовщик, насупя брови.

В синем проеме, образованном приоткрытой в улицу дверью, белело женское лицо. Пришла жена Кладовщика Зинаида.

– Что ж вы, ребята? – закачала головой. – Шли бы в дом, посидели как люди, закусили бы по-человечески. Ведь не бродяги, в сарае-то?

Приглашение было единодушно отвергнуто: «Нам и здесь в кайф. Никому не мешаемся». Зинаида ушла. И зачем Кладовщик припрятывал от нее – простой, неругастой бабы – самопальное зелье? Об этом мужики тоже поговорили, шутейно. Пришли к выводу, что толковая баба никогда не будет собачить мужа за выпивку, – за выпивку, но не за пьянку. После еще разок хватанули по полстакану калиновки, и застолье плавно стало утихать.

Первым сорвался Борис. Он поднялся с ящика, застегнул пуговицы на своей кожанке, обаккуратил положение клетчатого кепи на голове и буркнул:

– Всё, мужики! Пока! – Вышел из сарая.

В небе светила луна. Небольшая, серебряная, яркая. Прозрачных материков на ней уже почти не было видно, лишь едва различимые, бледноватые архипелаги в серебряном круглом море...

Пройдя несколько метров и немного освоившись с потемками, Борис завернул за угол ближайшей кирпичной пятиэтажки. Остановился, чтобы справить малую нужду. Лунный свет бил сверху в спину, и тень Бориса, ломаясь, лежала на земле и на кирпичной кладке стены. Борис, хотя и был поднагружен сивухой, но вполне соображал и слегка сместился вбок, чтобы не мочиться на свою тень. «Кретины! – выругался он и, передразнивая Лёву, подумал: – Русские люди, русские люди... По золоту ходят. Нефть, газ, алмазы, никель, алюминий. А во всем городе ни одного приличного нужника! Как жили тысячу лет скотами, так и остались. Мечтают о потопе в Америке. Страна дураков!»

Луна невольно и равнодушно подглядывала за Борисом: как он чертит струей по кирпичной стене, оберегая при этом свою тень.

В то время, когда Борис Вайсман добирался до дому по никольским темным улицам, в газетном цехе местной типографии на барабане печатной машины тиражировался его свежий репортаж с комментариями, подписанный псевдонимом Борис Бритвин.

«...Нет, революцию в России сделали не герцены и не марксисты, не народовольцы и не жидомасоны, как любят твердить твердолобые черносотенцы, и даже не большевики. Революцию в России сделали обездоленные бабы! Никто не может впасть в большее отчаяние, чем женщина, видя своих голодных детей. Именно они, отчаявшиеся, руками своих мужей-рабочих были движущей силой в революционном перевороте 17-го года.

Женское начало должно наполнить и новую русскую революцию против ненавистного жульнического капитала. Подождем. Отольются и нынешним угнетателям горькие бабы слезы!»

Далее в «Никольской правде», которая позволяла своему лучшему обозревателю Борису Бритвину и либеральные вольности, и прокоммунистический ракурс, шел абзац о хулиганской выходке Юрки. «Это не просто озорство – это защита интересов родителей. Эти дети рано или поздно потребуют у власть предержащих ответа за обнищание своих отцов и матерей. И непременно отомстят воровскому капиталу. Они из глотки вырвут причитающиеся по вауче-

рам, по сберкнижкам деньги родителей. Напрасно думают сегодняшние богатеи, что всё сойдет им с рук. Поколение мстителей по праву спустит с них шкуру за разграбление России, за уничтожение великой державы».

В сарае почти совсем истаяли голоса. Поуныл и огонек в керосинке. Пусто зеленела стеклом допитая четверть. Кладовщик угрюмо забурел, огруз, сидел недвижим, как толстый статуй. Только время от времени поднимал руки и однообразно поправлял шляпу. Шляпа на голове у него держалась плохо, он старался натянуть ее поглубже, но шляпа была стара, села – и от времени, и от перенесенной непогоды – и не хотела сидеть крепко на пьяной голове хозяина. Опять появилась Зинаида. Почти без слов увела Кладовщика домой. Он шел покорно, шел, уцепясь рукой за руку жены.

У сарая без лишних слов расстались Лёва и Сергей.

Лёве путь держать в старый город. Добираясь туда, он на ночном холоде значительно отрезвел и думал о насущном. О том, что уже давненько без работы. О том, что фактически живет на пенсию матери. О том, что пора ему опять подаваться в Сибирь на заработки.

Не доходя до своего дома, Лёва свернул в калитку дома соседского. Затарабанил кулаком в дверь. Бревенчатый дом будто весь загудел, затрясся от его внезапного ночного стука. Вскоре в окнах испуганно вспыхнул огонь. В сенях послышались шаркающие торопливые шаги.

– Ваня, это я. Твой корефан Черных. Отпирай. Позарез нужно, – нарочито сиплым, надсадным голосом заговорил Лёва.

Дверь открылась. Взлохмаченный спросонья, в накиннутой на плечи шубейке, в кальсонах, перед Лёвой стоял Иван Киляков. По жизни – бобыль, жадноватый, всегда имеющий непустую кубышку, промышлявший на рынке сбытом сантехнической мелочевки.

– Банка мёду нужна. Срочно. На лечение горла... Слышь, Вань, как горло-то у меня осипло? А мне завтра на митинге выступать. Гони медку немножко!

– Дак ведь кабы был, – пожимаясь то ли от холода, то ли от скупости, ответил Киляков. Браниться по поводу некместной пробудки не стал, видя, что непрошенный гость со странной просьбой нетрезв. – Может, вина не хватило? Так ты к Сан Санычу сходи. Он тебе самогонки плеснет. Он гонит. Я знаю.

– Меду надо. Меду! Как ты не поймешь! Безголосый на митинге, какой я оратор? Не мерзни, Ваня, и не мурьжь. Давай медку. Нечего жаться.

Махонькую баночку меду после пререканий и киляковских отговорок на отсутствие такого Лёва таки выщедил. Сладкую баночку сунул за пазуху, ткнул пальцем Ивану в грудь, сказал без всякой осиплости:

– Есть в тебе, Ваня, душа! Не всё из тебя выжег капиталистический рынок. Богом зачтется твое пожертвованье. На Страшном суде я защитником выступлю. ... – Он перевел палец на небо.

– Тьфу! Клоун ты... – Иван загнул матюг и разобиженно захлопнул дверь перед Лёвиным рыжим носом.

Зачем потребовался Лёве мед, ночью, хмельному? Не для себя – для матери. Она еще не была старой, не очень давно на пенсию вышла, но он ее баловал как старушку – гостинцами. Каждый вечер норовил что-нибудь принести ей. Хоть дешевую карамельку, хоть яблочко, хоть лимон к чаю; хоть просушенную березовую чурку с соседской поленницы. «На-ко, мама! Лучина из нее – чудо! Аж затрещит в печи-то! Как порох!» Мать и такой просушенной чурке была рада.

Сергей возвращался домой, склоня голову, поеживаясь. Звездное небо и ядовитая синь луны будто бы повернули весну вспять – к зимним заморозкам. Но не только из-за ночной застуделости горбатился, вжимал голову в плечи Сергей: у него ныла спина, болела шея. Сто-

ило чуток оступиться или споткнуться где-то – боль отдавалась в ошпаренных резиновой дубиной мышцах.

В душе не было все же темноты уныния от заводского раздвоя и невеселого путешествия в ментовку – в душе звучала грустная, томительная мелодия от разлуки. Хотелось говорить с Мариной.

Он тихо бормотал, словно посылал звуковое письмо:

«Извини, Марин. Выпил немного с мужиками. Отгуляли вольную. Нынче для нас Юрьев день... Отметели палками трудовой народ... И вправду, неужель никто никого не покарает за такую разруху в России? – Сергей остановился, взглянул в небо, в звездную даль. Зашептал нежным тоном: – Соскучился я по тебе, Марин. Сильно соскучился. С вечера долго один уснуть не могу. А утром проснусь и пугаюсь: Маринка-то у меня где? Где она? Почему она уехала так надолго? Так надалёко?» – Он усмехнулся. От хмеля и наплыва сентиментальных мыслей перехватило слезой горло; что-то заныло внутри... Он тосковал по Марине остро. Он физически тяжело переносил ее отсутствие. За десяток с лишним прожитых совместно лет их никогда не делили такие расстояния и отмеренный путевкой и дорогой почти месячный срок разлуки. «Лечись там. На море наглядись. Черное море, говорят, красивое. Приедешь – нам с Ленкой расскажешь... Всё сладится. С работой. С деньгами. Приезжай только быстрее».

Дома Сергея встретила разобиженная дочка, быстро заговорила:

– Пап, ты где был? Я жду тебя, жду! Мама звонила, спрашивала тебя...

– Когда она приедет? – встрепенулся Сергей.

– Ты чего? Еще долго, – удивилась Ленка. – Она только неделю назад уехала.

9

В открытую фрамугу окна доносился шум моря, мерный, ухающий, чуть шелестящий. Штормило.

Замутненные в бурлящем движении серые водяные валы с гривами белой пены падали на берег, выхлестывали, поднимали в пляс мелкую гальку. Затем неохотно, цепляясь за крупные голыши, волны откатывались назад, навстречу другим вздыбленным волнам. От этих встреч еще сильнее кипела, ярилась, разливалась по берегу серо-зеленая вода с утхающей пеной.

В какой-то момент тяжелые волны толкнулись своим шумом в спящее сознание Марины, и она пробудилась. Отдаленный рёв моря наполнял предрассветный покой комнаты. Сердце часто колотилось. Во сне за Мариной кто-то гнался. Она не знала, кто это был, боялась обернуться назад, но чувствовала погоню. Она неслась от преследователей со всех ног, и шум встречного ветра полонил уши, забивал все другие звуки. Теперь тоже в ушах стоял шум, шум моря.

Чувство погони, вернее – чувство страха от погони, Марина унаследовала в сон с прошедшего вечера. Из дома садовника, от его постояльцев, она выскочила ошалелая, кое-как надернув на себя платье и схватив плащ. Она бежала в потемках по какой-то улице под уклон – на прибрежные огни, где маячил сквозь деревья зажженными окнами спасительный санаторий.

По дороге она упала, разбила колено, плакала. В какую-то минуту у нее всё внутри перевернулось, и ее стошнило. Она стонала от горечи, от боли, от страха. Ей постоянно чудилось за спиной дыхание погони. Вот-вот, в какой-то миг, ее схватит за плечо Руслан: «Э-э, красавица, ни спеши...» Еще нестерпимее, еще большая жуть, если схватит его брат Фазил, это животное...

Даже оказавшись на аллее санатория, освещенной фонарями и, кажется, безопасной, Марина сжималась не столько от стыда за свой вид, сколько от невидимых преследователей. Она поднимала воротник плаща, прятала от встречных прохожих лицо, натертое бородами... Изможденная, словно побитая со всех сторон палками, она шла быстро, замкнуто, но неуверенно, иногда сбивалась с ног, покачиваясь от выпитого, косилась на свою взлохмаченную шатучую тень.

Добравшись до своей комнаты, Марина плюхнулась на кровать, разрыдалась. Призналась обескураженной соседке:

– Меня, Люб, чеченцы изнасиловали.

Любаша всплеснула руками, всколыхнула свои большие груди:

– Чё ж ты так! Вся эта чернота русских баб шлюхами считает. К ним приближаться-то опасно, не только говорить!.. А уж тем более чеченцы. Может, это боевики какие. Людей воруют. Или наркокурьеры. Тут у них ничё не поймешь. Могут поулыбаться и тут же нож под ребро сунуть! – Выплеснув первые горькие изумления, чуть поостыв, Любаша села рядом с Мариной, приобняла утешительно: – Уж лучше б ты грешным делом с каким-нибудь азиатом, с «урюком» спуталась, чем с этим зверьем.

– Может, мне в милицию заявить? – хныча спросила Марина.

– Да ты чё! Это ж Кавказ! Ворон ворону глаз не выклюет. Русских здесь не любят. Русским везде сейчас ходу нет. Из Казахстана выживают, из Прибалтики гонят. Даже Крым, и тот хохлы да татары оттяпали. А здесь, на Кавказе, и при советской-то власти порядка не найдешь, а теперь... Обо всем помалкивай! Я где-то прочитала: по статистике, каждая четвертая баба была или изнасилована, или без согласия взята... Отоспись. Я тебе сейчас микстурки успокоительной плесну. Утро вечера мудреней.

...Но утро показалось горше вечера. Похмельная гудливая боль в голове, саднит разбитое колено, синяки проявились, засинели на локтях, и внутри тошнотворная горь. Не видеть бы

весь мир, не открывать глаза – затмить бессолнечный белесый рассвет. Погрузиться не в сон, где погоня, но во тьму, где нет ничего. Не верить, не признавать того, что случилось в доме садовника.

«Уеду! Сегодня же уеду!» – выпалила Марина про себя и быстро поднялась с постели.

Под утро Любаша всегда спала зыбко, воспитанная сельским распорядком. От порывистых движений Марины проснулась. Тут же принялась протирать кулаками глаза, почесываться, шумно зевать.

– Видеть не хочу! – горестно вырвалось из груди Марины, когда стояла у окна, глядя на море, на берег. – Уеду. Прямо сейчас уеду!

– Чё ты выдумываешь? Куда ты поедешь! – в пику бросила Любаша. – У тебя ж на лице всё написано. Прикатишь в таком-то состоянии к мужу: «Принимай, дорогой...» Лучше уж здесь пересиди. Уляжется. Из-за каких-то орангутангов лечением жертвовать.

Марина швырнула носом, но слезы в себе задавила. Только внутри – гуще обида, и грязные штормовые волны плескались куда-то в душу, бередили вчерашнюю рану.

Волны нарастали будто бы из глубин моря, из его самого центра, прикрытого утренней дымкой. Они вырастали, косматые, неловкие, внахлест друг за другом, ползли на берег, чтобы там разбить взлохмаченный пеной гребень.

Вдруг в дверь комнаты кто-то постучал. В тишине раннего утра стук показался недобрым, настойчивым. Кольнул Марине сердце. Глаза у нее вспыхнули испугом, мысли вихрем закружились вокруг вчерашнего.

– Любушка, спаси меня! Это опять они! – полоумно и панически прошептала она, схватила покрывало, быстро покуталась в него и забилась в угол.

Любаша без суеты надела халат, прошла в узкую прихожую и твердо, громко спросила:

– Кто там?

– Я принес сумку, – глухой голос раздался за дверью. – Здесь Кондратова шивет?

Вскоре в комнату вошел старик садовник. В руках он держал пластиковый пакет: не понес найденную вещицу в открытую, при людском обзоре. Садовник был, как всегда, облачен в темную куртку и в черную каракулевую шапку. Старое, в темных бороздах, лицо, казалось, ничего не выражало.

– Вот, – сказал старик равнодушно. – Ты забыла. Она на гвозде висела. Там книшка. Я посмотрел... – Он хотел передать сумку в руки хозяйки; он, очевидно, сразу определил, что хозяйка – это она, Марина, та, которая стоит в углу, укутавшись в покрывало.

Но Марина не шевелилась, не могла, не хотела высвободить из-под покрывала руку навстречу старому садовнику. Он молча положил пакет на стул, повернулся, чтобы идти назад.

Весь его вид, старческий, заскорузлый, удивлявший прежде Марину редкостными по своей глубине морщинами, которые проступали даже сквозь седую бороду, теперь вызвал в ней враждебный едучий заряд. Словно бы и этот старый чеченец тоже поизмывался над ней – унизил, принес сумку: на вот, уличная девка, не теряй больше! У Марины задрожали губы. Ее лицо окатила нервная бледность, и она выбросила переполнявшую горечь со взбешенной отвагой:

– Скоты! Чтоб вы все сдохли! Только людей грабить и насиловать! Звери! Пропадите вы все пропадом!

Старик замер. Будто слова своим ядом вогнали его в оторопь. Он стоял и, казалось, ждал еще, еще новых оскорбительных стрел. Но Марина молчала. Только частое дыхание яростно рвалось из груди.

Старик медленно повернулся к ней, посмотрел в лицо. Его черные южные глаза под желто-седым мхом бровей не выглядели злыми. Взгляд казался разочарованным, даже беспомощным. Старик недолго смотрел в лицо Марины, потупился. Он как будто рассуждал: стоит

ли чего-то говорить этой взбешенной женщине? Потом он поднял голову и протянул Марине руки:

– Посмотри, женщина, на мои руки. – Руки старика с желтоватыми толстыми ногтями были смуглы, морщинисты, с узлами выпуклых вен. Руки были большими и казались неуклюжими, громоздкими по сравнению с поджарым сутулым телом старика. – Я всю шизнь, – чуть хриповатым, притушенным голосом говорил он, – работал этими руками в поле. Мне никто не шелал смерти. Я тоше никому не шелал смерти. Твои братья пришли на мою землю. Они разрушили мой дом. Я приехал сюда. Теперь много моих братьев тоше вынуждено скитаться...

– Ладно, ладно, ладно! – вступила Любаша. Она стояла настороже, ждала своей минуты, чтобы приблизить развязку. – А сколько вы русских скитальцами сделали! Ты, старый, нам демагогию тут не разводи... Ладно, ладно, ладно! Знаю я вас. Не переработались. Один с сошкой – семеро с ложкой. У нас к тебе претензий нету. Ступай! За сумку – спасибочки.

Старик опять понурил голову, отвернулся и, пришаркивая ногами, пошагал к двери.

Марину от своей истеричной выходки еще сильнее стиснула тоска. Радости обретения потерянной сумки, в которой лежала санаторная книжка и немного денег, не случилось.

– Шторм на море. Пойдем поглядим. Интересно, – призывала жизнестойкая Любаша.

– Уеду, – невпопад отвечала Марина. – Уеду! Не хочу!

– Никуда не поедешь. Не пущу!

В этот день Марина не выходила из номера. Любаша приносила для нее из столовой еду.

* * *

На следующий день шторм не утих. Усилился. Мятёжное очарование, сокрытое в рокоте движущихся водяных глыб, притягивало к себе отдыхающих. Марина тоже соблазнилась поглядеть на стихию...

С бессмысленной яростью волны бухались на берег, на бетонные сваи солярия, на глыбы береговых укреплений и на выщербленные волнорезы и буны. С разбегу волны ударялись в скалистый горный склон, пенились, затихали; повторяли попытку.

Выбрав себе закуток на склоне над пустующим диким пляжем, в безлюдье, на скамейке под пятнистым платаном, Марина покусывала губы... Иногда ее лицо подолгу было покойно, даже отчужденно и невозмутимо. Но вдруг оно менялось. Красные пятна беспокойства выступали на щеках, губы бледнели. Взгляд терял из обзора море, утыкался в потемки внутри себя.

Грузинское вино «Саперави» – ей хотелось попробовать его. Этот попутчик из Москвы, Прокоп Иванович, нахваливал... Канатная дорога – она же всегда мечтала прокатиться над горами. Тысячи людей катаются. Чего ж тут такого? Садовник, этот старик Ахмед, – сразу видно, что он трудяга. А Руслан его знает. Примазался... Руслан – предатель, гад, мерзавец! Он влез в доверие. Добреньким прикинулся, телефон предложил. Угощал. И вдруг стал как зверь! Потом еще его брат... Чудовище! Ненавижу!

Слезы опять перехватывали горло. Хотелось разреветься, обхватив голову. Но Марина сопротивлялась. Нынешнюю ночь она и так провела в слезах, всё лицо опухло. Теперь старалась держаться – не плакала, твердила Любашины слова как заклинание: «Не травми себя! Ничё не изменишь!»

Гигантская волна со всего маху ударила в ближний волнорез, разбилась. Мелкие дребезги-капли подхватил ветер, окропил солеными брызгами лицо Марины. Ветер... Тогда ночью ее тоже пробудил ветер. Ураганный ветер принес в Никольск ливень. Принес несчастье сестре Валентине и в конце концов погнал Марину сюда, в санаторий.

Ветер разорвал облака в небе, солнце яркой лавиной провалилось вниз, морская даль заиграла зеленым взбудораженным цветом. Уходить от моря, из одиночества, к отдыхающим в санаторий, не хотелось. Даже появление людей вблизи укромной скамейки под платаном

Марину раздражало. Она приподнимала воротник плаща: дескать, ступайте мимо, видите: женщина сидит уединенно, ей сейчас ни до чего.

Марина требовала с Любаши клятвенное обещание никому не пересказывать о том, в чем призналась. Но Марине и без сплетен и пересудов казалось, что на ней какая-то печать, злая мета, которая видна и понятна всем.

Вдруг опять, словно волна, накатывалось очередное воспоминание. Когда она рассталась с Сергеем на николевском вокзале, наказывала: «Ленку береги!» Он кивнул головой, напутно ответил: «Себя береги». – «Себя береги»? Что это? Как будто предупреждал. Как будто знал, догадывался, что она может вляпаться...

Так не хотелось подниматься со скамейки и идти в лечебницу на какие-то процедуры, на которых надо было обязательно быть!

Марину окликнули, когда она шла мимо теннисного корта, недалеко от санатория. Мужской голос с площадки – сквозь высокую проволочную сетку ограждения.

– Разве вы меня не узнали? Я очень рад вас видеть... Как вы устроились? Как отдыхаете? – Роман Каретников в белом спортивном костюме, в белых кроссовках, в белой бейсболке, с теннисной ракеткой в руках и лимонно-желтыми мячами вокруг ног. Весь такой по-прежнему элегантный, свежий, улыбочивый.

– А-а, это вы... Здравсьте. Всё нормально.

Марине не захотелось, как при первой встрече, охорашиваться. Ей не хотелось и говорить с ним.

«Только его мне еще не хватало. Уж теперь-то с ним – никаких «ля-ля»!» – ожесточаясь на насильников, на себя, на самого Каретникова, который безнадежно запоздал со свиданием, подумала Марина. Приказала себе идти скорее и даже ладони сжала в карманах плаща в остеренские кулачки, чтобы быть тверже в своем намерении – уйти не оглядываясь. И ей абсолютно перед ним не стыдно, что у нее распухшие от слез щеки и нос!

– Куда же вы? Погодите! – Каретников всполошился, вплотную подошел к ограждению.

Но чтобы добраться до Марины, нужно было выбраться с площадки, сделать крюк, потратить время.

Она не откликнулась, не обернулась. Роман Каретников недоуменно замер перед ограждающей сеткой.

10

Издательский дом Каретниковых, совладельцем и директором которого был Роман, успевал за счет огромных государственных заказов; жирным куском от частных компаний, тоже, разумеется, не гнушались. Однако коммерческую деятельность предприятия Роман контролировал относительно, для этого имелись спецы из холдинга Каретникова-старшего. Роман же большей частью наращивал просветительскую ветвь издательского бизнеса.

– Зря мы поехали в Грузию. Не вовремя, – сказал Роман.

Его слова упали на взрыхленную почву.

– Что я вам говорил, батенька! – тут же подхватил Прокоп Иванович. – Никому сейчас такие затеи не нужны. Вы сами видели обнищавший Батуми. А истрепанная войной Абхазия? Кто сможет сегодня рассказать правду об этой войне? В ней поучаствовали не только абхазцы и грузины, но и чеченцы, и даже новоявленные казаки... Между тем среди абхазцев немало мусульман, а грузины – сплошь христиане. Но абхазцы ближе России, чем Грузии. Нет, Роман Василич, не трогайте историю кавказских народов! – Прокоп Иванович мягко провел мягкой же своей, канцелярской, толстоватой рукой по голове, потом взял ладонью в узду свою бороду. – Сама по себе историческая наука – дама очень горделивая. Она в зачет берет только победы. Поражения ей в любовники не годятся! Стало быть, история всей правды о народе не скажет. А уж тем более – Кавказ! Тут кланы, тейпы, роды... Нам бы с русской-то историей разобраться.

Азарт к разговору вспыхнул в Прокопе Ивановиче, когда Роман косвенно намекнул о своем проекте, помянув поездку в Грузию. Каретников пестовал идею создать серию книг «История наций». Абхазцы и аджарцы угодили в первую голову проекта по формальным признакам: «А-б», «А-д» – самый верх алфавита. Энциклопедический уровень замышлявшегося издания требовал именно такого подхода. К тому же на Черноморском побережье находилась дача Каретниковых, и Роман мог не умозрительно прикоснуться к историческим камням горцев. А зазванный для консультаций Прокоп Иванович недурно знал здешние места еще по советским командировкам и еще не растерял дружбы с аборигенами из научных кругов.

Задумка о создании такой энциклопедии пришла Роману в голову несколько лет назад. Живя и работая за границей, он видел, как западный мир кренится к опрощению и унификации, как глобализация, этот невидимый, неосязаемый монстр, внедряет североамериканский фасон и стандарт, и Старый Свет не в силах устоять перед этим. Теперь же и Россия, будто опоздавший школьник, стремилась поскорее попасть на урок цивилизации... «Меняются эпохи, и многое безвозвратно растворяется во времени. История не повторяется! – рассуждал Каретников. – Хотя бы на сломе веков надо уловить и зафиксировать состояние нации: духовный уклад, мудрость, традиции. Хотя бы историю народов, близких России».

Прокоп Иванович тем временем настаивал на своем:

– Взгляните на судьбу Отечества нашего. Сколько постыдных страниц. Междоусобная война русских князей, порой братьев. Церковный раскол. Трудно и представить большую пагубу для русского общества! Жестокость Грозного, а потом и Петра Первого. За время правления Петра население России убавилось на треть! Дичь крепостничества. Заговор декабристов и расправа над ними. Изуверство комиссаров. Гражданская бойня. Террор Сталина. Безумные жертвы войны. Идиотизм перестройки. Потом – развал Союза. Либеральные аферисты и проходимцы... А в исторической науке всё равно бродит великоросская гордость. Москва – Третий Рим! Чем люди скорее отрекутся от своей истории, чем меньше будут спекулировать ею, тем легче станет жить. Беда России в том, что она из своей мессианской борозды выбраться никак не может! – Тут Прокоп Иванович широко улыбнулся. Весь пар полемиста из

него, вероятно, вышел, и он примирительно досказал: – Заниматься сейчас Кавказом, конечно, не время. Чтобы исследовать вулкан, надо подождать, когда он погаснет.

– Вы мне целую лекцию прочитали. Но под словом «не вовремя» я подразумевал совсем другое, – грустно уточнил Роман. – Я... – Он замешкался. – Я видел эту женщину.

– Марину? – с лёту угадал Прокоп Иванович, словно это имя носилось где-то в воздухе.

– Да... Она не захотела разговаривать со мной. Можно сказать, убежала от меня. – Роман помолчал. – Пока мы с вами путешествовали, с ней что-то произошло. Мне почему-то неловко перед ней... Откуда, вы говорите она приехала? Из Никольска? Это где-то на Севере? Или на Урале?... А фамилия? Фамилию вы ее не знаете? – оживился Роман. – Она не сказала вам случайно?... Ну, может быть, вы в железнодорожном билете видели?

Мясистое лицо Прокопа Ивановича осветилось насмешливо-доброй улыбкой.

– Роман Василич, батенька, это уже больше, чем любопытство.

Они сидели в плетеных креслах на открытой веранде просторной двухэтажной каретниковской дачи. Отсюда, с веранды, за решетом из ветвей, облепленных недавно проклюнувшейся зеленью, проступало дальним синим клочком море, слева по огибу морского берега в сизую дымку уходила гряда гор; справа, на пологом прибрежном пространстве курортного городка, заметно высилось белое здание санатория.

– ...Любовь к провинциальной барышне намного глубже, чем к столичной дамочке, – рассуждал всеядный Прокоп Иванович. – Провинциалка видит в мужчине просто мужчину, а московская особа видит в первую очередь себя возле мужчины, у которого складывается карьера. В Москве у всех носы повернуты к власти, к финансовому успеху. Даже неологизм появился «успешный мужчина». В провинции, чтобы тебя любили, можно оставаться просто мужиком. А в Москве надо непременно стать успешным! Нигде в России так не чтут богатство, как в Первопрестольной! – витийствовал Прокоп Иванович. – В Москве мало любви. Карьера, деньги, политика – они подменяют личную жизнь. Поэтому в столице люди рано становятся одинокими. Одинокими даже не по судьбе, а по чувствам. В провинции главный враг любви... – Прокоп Иванович звонко щелкнул по своему луженому горлу, – водка!

Роман усмехнулся, покосившись на манящее здание здравницы.

– Очень жаль, что вы не знаете фамилии Марины. Я бы попробовал разыскать ее в санатории.

– Это пара пустяков. Букет цветов – регистраторше. Она вам в две минуты найдет Марину, которая приехала неделю назад из Никольска.

– Без вашей подсказки мне бы не хватило ума действовать мелкими взятками.

Роман не признался, что идет разыскивать Марину. Лушину это признание и не требовалось. Вскоре он остался на веранде один.

* * *

Солнце шло к закату. Гул штормового моря стал глуше. Должно быть, волны истошились и помельчали. Истратился, ослаб и где-то затаился ветер.

Прокоп Иванович прошелся по веранде, заложив руки за спину. Поглядывал на каретниковскую дачу, на зацветшие яблони в небольшом прилегающем саду. Папаша-то у Романа хват. Еще в советское время умудрился такое ранчо отгрохать у моря. Развернулся Василь Палыч. Не на шутку развернулся! Теперь ему и дворец по плечу... Роман-то из другого теста будет. Проекты гуманистические. Сантименты. Провинциальную дамочку побежал разыскивать... Ну и пусть! Это лучше, чем путаться с любовницей своего отца... Эх, вина бы стакан! Он обреченно покосился на графин с водой, который стоял на плетеном столе, и взял в кулак свою непослушную топорщистую бороду.

Спустя минуту Прокоп Иванович опять сидел в кресле. Нацепив на толстый нос очки, он погрузился в чтение рукописи, которую нечаянно привез с собой из Москвы.

«Само существование человека – физическое и духовное – сомнению не подвергается ни материалистами, ни идеалистами. Есть человек – как материя. Есть его духовная жизнь – как совокупность его чувств, которые имеют характерные признаки. Среди этих чувств самое яркое и загадочное – любовь. Если это чувство способно доводить человека и до иступленной радости, и до суицида, тогда не предположить ли, что это чувство не просто нечто идеальное, но и нечто материальное? Состоящее из неведомого ныне вещества, ткани, клеток, каких-то неомолекул? Тогда будет правомерен поиск закона сохранения человеческих чувств, аналогично закономерностям физики, механики, математики. Ибо материя, вещество, равно как и энергия, импульс и т. п., не могут произойти из ничего и стать ничем. Целая группа законов сохранения гласит об этом. Причем помимо так называемых строгих законов сохранения, существуют приближенные законы сохранения, которые справедливы лишь для определенного круга процессов. Закон сохранения любви вряд ли примкнет к группе строгих законов сохранения. Скорее всего – это закон с большими приближенностями».

Текст, набитый на старенькой пишущей машинке с истрепанной печатной лентой, располагался на листах, на которые уже легла желтоватая поволока лет. На эту рукопись Прокоп Иванович наткнулся совсем случайно, она оказалась у него в кармане дорожного чемодана и пролежала там немало времени. В чемодан же она попала из редакционных архивов, в которых Прокоп Иванович рылся еще несколько лет назад, перед тем как архивы должны были сжечь или пустить в макулатурные контейнеры. Советская книжная жизнь кончилась, родное издательство сворачивалось, освобождая особняк в центре Москвы под нужды новой богатой жизни. Тысячи страниц издательских рукописей в эту новую жизнь не умещались.

Утраты уже успели коснуться и рукописи, которую спас Прокоп Иванович. Она была с изъянами: в ней отсутствовал титульный лист, сохранился лишь заголовок «Закон сохранения любви». Нигде не значилось имя автора: первая страница тоже была утрачена. Станным образом рукопись и заканчивалась. Вернее, она, казалась просто оборванной. Очевидно, не хватало нескольких заключительных страниц, которые в спешке то ли обронили, то ли сунули в соседнюю кипу, когда рукописи пачками спихивали в архивный подвал.

«Мужчина и женщина. Женщина и мужчина. Как ни переставь слова, а сокрытое под соединительным союзом «и» противоречие, или даже противостояние, сохраняется. Разумеется, это противоречие мелкого масштаба и не есть прямой итог кровопролития войн, истребительного сумасшествия революций, перекройки государственных границ, перетасовки принципов и нравов.

Однако вся история сплетается из действий личности, а на личность противоречие «мужчина и женщина» оказывает первостепенное воздействие. Не случайно высказался Блез Паскаль: «Нос Клеопатры: будь он чуть покороче – облик земли стал бы иным».

Рукопись состояла из небольших глав. Автор словно бы собирал из них, как из разноцветных кусочков, мозаику, но всю композицию этой мозаики открыть не торопился. Или весь итоговый рисунок (суть закона, регулирующего сохранение человеческой любви) прятался в утерянных страницах рукописи.

Пока же появлялся новый осколок мозаики:

«Математическая модель любовного треугольника может быть построена по принципу заговора. Любовный треугольник в большинстве своем уподобляется заговору двоих против третьего. Стоит заговору открыться – любовь подвергается распаду.

$$s = (x + y) - z, \text{ где}$$

s – любовь как продукт взаимоотношения двух любовников.

x – его чувства;

y – ее чувства;

z – чувства третьего (в качестве z может выступать супруга или супруг соответственно x и y , либо люди, им очень близкие и любовно связанные с ними).

Итак, если z ничего не знает, т. е. $z = 0$, то для любовников благоприятный вариант:

$$s = x + y - 0.$$

Если заговор открывается, и чувства $z \neq 0$, а напротив – нарастают, то любовь x и y стремительно убывает. По формуле:

$$s = (x + y) - z,$$

при $z \rightarrow \infty$ (знак бесконечности),

$$s \rightarrow 0$$

Сумеречного вечернего света уже не хватало, чтобы без усилий читать полинявший от времени текст. Прокоп Иванович отложил рукопись, снял очки. Что это? Заумь? Чужачество? Или уловка для читателей: под любовным соусом автор хочет протолкнуть совсем другое? А всё же жаль, что нет окончания у рукописи! Вероятно, последние листы случайно вырвались и выпали из картонной истрепанной папки. Но может быть, еще найдутся? Так же неожиданно выплывут, как выплыла сама рукопись – не замеченная в Москве, обнаружилась здесь, во внутреннем кармане чемодана.

По привычке огладив плешь и бороду, Прокоп Иванович умиротворенно сложил руки на своем толстом животе, дремотно прикрыл веки. Но не уснул. Религии, секты, идеологические течения, национализм – всё это по сути общественный загон для человечества. Стойло. Одно чуть просторнее, светлее, другое – совсем тесное, темное... Любовь, ревность, верность своему избраннику – это личное, индивидуалистическое ущемление собственного «я». Как пишет тот имярек: любовь – признанная над собой несвобода. Нравственные устои общества, религия не способны так ограничить человека, как любовь. Когда Наполеон узнал, что ему изменила его жена Жозефина, с ним сделался припадок. Дело дошло даже до конвульсий. После такого известия Наполеон не смог продолжать свой военный поход в Индию. В боях французский император терял десятки тысяч людей, видел десятки тысяч смертей, – с ним не случилось подобных приступов; ничто не могло сравниться с трагедией любовной измены.

Прокоп Иванович поднял веки, хотел было потянуться к рукописи. Но раздумал. Уже достаточно смерклось, а включать на веранде электрический свет не хотелось: здесь было уютно, тихо, еще не очень прохладно... Кажется, этот автор-инкогнито пишет примерно так: структура любовного чувства такова же, что и структура совести. Совесть и в человеке, и вне его. Человек готов забыть свой дурной поступок, но совесть не дает ему. Она способна казнить его. Она не управляема только индивидуумом и является либо частью Творца, либо всечеловеческой генетической зависимостью от добра и зла.

Прокоп Иванович, однако, не стал больше напрягать память и цепляться за фразы из рукописи. Он укрылся теплым клетчатый пледом и опять закрыл глаза. Некоторое время он находился в приятной дреме, в тишости внутренней и внешней.

Мир вечерне примолк.

Тишину вдруг пронзительно нарушила птица. Она закричала откуда-то с ветки высокого горного дуба, который широко раскинулся у подножья ближнего склона. Этим криком зазвенело всё окрестное пространство. Но крик птицы, похоже, не был зовом о помощи или отчаянным вскриком от испуга; птица пела, это была обыкновенная песенная резкая голосистая трель. Прокоп Иванович даже не попытался гадать: что за птица кричит так громко в предночной тишине; он подумал о другом... Вот она, естественность! Птицам не нужны ни диеты, ни религии, ни конституции. Птица хочет есть – ищет пропитание, хочет пить – ищет влагу, хочет петь – поет. Не жадна, не завистлива. У птиц нет государственной машины, которая начинает

войны... А человек? Человек ломает себя учениями, теориями, предается суевериям. Создает богов и божков. И постоянно ищет себе несвободу. Зависимость от вещей, от лишнего веса, от нового автомобиля, от партийного списка... От «Закона сохранения любви».

Птица смолкла. Опять стало тихо. И казалось, прибыло сумеречности. Солнце уже совсем скрылось. Стелющийся над землей закатный свет падал только на вершины лежавших на востоке гор. В береговой долине сгушалась тень.

До Прокопа Ивановича донесся шелест. Он сперва насторожился: что это? откуда? Шум исходил сверху. И тут увидел небольшой косяк бело-розовых птиц. Чайки, озаренные снизу заходящим солнцем, шли колеблющимся углом в сторону гор. Это от них исходил шелест: они били сильными крыльями по упругому воздуху.

Птицы! Удивительные создания! Недаром человек мечтает хоть ненадолго стать птицей. Прокоп Иванович вздохнул: через несколько дней ему исполнялось шестьдесят пять лет. Вот оно, неминуемое дыхание старости. И спрос. Так ли делал, зачем делал, ради чего делал? Так поверни и так поверни – всё можно было бы сделать как-то по-иному, распорядиться собой иначе – умом, здоровьем, чувствами. Но ничего уже не перевернешь. Всё время казалось, что правда и смысл жизни отыщется в книгах. Только там ли правда и смысл? И в чем они?

Он посмотрел еще раз в небо. Улетели бело-розовые птицы.

Прокоп Иванович поглуше накрылся пледом и опять по-стариковски, не спеша думал. Он вспоминал свою первую жену, впрочем, второй жены у него и не было. Он вспоминал, что на каждый день рождения она вытаскивала его в ресторан, потому что любила показаться на людях и потанцевать.

11

Смотровую башню на горе Ахун, недалеко от Сочи, построили по указке Иосифа Сталина. Или по ретивой услужливости его партийной челяди, которая сразу уловила, что нагорное место пришлось Хозяину по душе. Здесь и возвели в тяжеловесном готическом стиле из больших ноздрястых камней архитектурную достопримечательность. Трудные горные километры извилистого серпантина с равнинного Черноморского побережья до вершины Ахуна строили всего четыре месяца...

– Участок объездной дороги в районе Мацесты, протяженностью примерно такой же, как дорога на Ахун, уже в наше время строили почти десять лет, – с иронией, не скрывая по ходу экскурсии верноподданнического уважения к бывшему правителю, рассказывала гид, немолодая, бровастая, с широким носом и бородавкой на подбородке армянка.

Марина и Роман стояли на верхнем смотровом ярусе башни среди пестрой по одеждам и по возрасту толпы экскурсантов.

День выдался безоблачный, ясный, кристальный. Взгляд пронизывал даль до какой-то фантастической бесконечности. С севера простирались по-весеннему озеленелые, светлые предгорья, на которых мелкими коробушками выглядели дома дальних селений. Еще дальше – Кавказский хребет: нагромождения горных гряд, белеющие снежные неподступные вершины. С другой стороны, с юга, полукружьем, залитое солнечным светом – море. И синяя сфера неба, и горные цепи, и морское безбрежье – всё это философское пространство здесь, на вершине высокой башни, казалось, давило на человека – уменьшало его, превращало его существование в мире в суетный и пустой миг.

Марине становилось грустно и мутно. Она с тоской вспоминала о доме, думала о дочке. Ей очень хотелось, чтобы Ленка прожила свою жизнь как-то иначе, не так, как она...

– В ясную ночь, – с веселыми нотками в голосе рассказывала экскурсоводша, – некоторые подвыпившие посетители башни утверждают, что видят из бинокля огни на побережье Турции. Сталин знал, где выбрать место... А внизу, в долине, у подножья горы, мы видим с вами одну из кавказских дач Иосифа Виссарионовича, – указала гид на заповедную обитель всемогущего властителя. – Раньше дача была закрыта для посетителей. Теперь это коммерческое предприятие. Ее можно снять на некоторое время. Можно заказать банкет в ресторане. Или провести ночь в спальне Иосифа Виссарионовича, – с южным акцентом и с хитрецей на ярко накрашенных морщинистых губах добавила она.

– Скоро из московского Кремля коммерческое предприятие сделают.

– Уже сделали!

Смех в толпе.

– Сталин бы такого разгула не допустил.

В группе экскурсантов, к которой Марина и Роман присоединились по случайности, прокатился ропот не молодых, но и не старческих голосов:

– Сталин – созидатель. От сохи до космического корабля – всё Сталин.

– Дорогу в горы за четыре месяца! Ишь!

– При социализме столько сделали, что демократы столько лет воруют и разокрасть не могут.

– Ненадолго бы хоть Сталина-то поднять!

Экскурсоводше, которой в основном и направлялись эти высказывания, ворчливые слова были симпатичны. Она согласно кивала, улыбалась расшевеленным в эмоциях подопечным.

– Как парадоксально устроены люди! – негромко проговорил Роман, принаклонясь к Марине. – Человек, насаждавший рабский труд, причастный к истреблению сотен тысяч невин-

ных, вызывает пиетет и кажется идеалом политического деятеля. И это явление не только русское...

Марина оглянулась на Романа. Но его слова ее нисколько не заинтересовали.

«Все мужики любят говорить о политике», – уныло подумала она и опять осталась наедине с морем, с небом, с далекими вершинами гор. Ей хотелось расплакаться от своего одиночества, от тоски. Зачем она здесь? Здесь так одиноко, на этой вершине!

...Роман выследил Марину на аллее санатория. Он не пошел к регистратору – подгадал момент неслучайной новой встречи с Мариной. Не криводушничая, признался ей в первую же минуту:

«На аллее очень удобные скамейки. Час пролетел совсем незаметно. Я знал, что вы выберетесь когда-нибудь из своей кельи».

Марина посмотрела ему в глаза. Потупилась и негромко сказала:

«Где ж вы раньше-то были, рыцарь?»

«Рыцарь только в книжках везде успевает. Но ведь и принцесса всегда запаздывает со встречами. У вас что-то стряслось?»

«Не спрашивайте, пожалуйста, меня ни о чем».

На другой день он пригласил Марину сюда, на экскурсию.

«А сколько стоит билет? Прошу вас: не надо за меня платить. Я сама куплю себе... Завтра в одиннадцать? Хотя нет, утром у меня процедуры. Давайте лучше после обеда».

Вот она, эта гора Ахун. Высоко, страшновато, и на душе неспокойно. Но Роман-то ведь тут ни при чем! Ни в чем, ни в чем не виноват! Роман же никакого отношения не имеет к *этим* зверям!

– ...Во Франции, – слышала она за спиной его голос, – по сей день полно бонапартистов. Даже в Германии, где я жил три с лишним года, встречались образованные люди, которые искренне возносят Гитлера и надеются на реванш... Мой отец, которого в тридцать седьмом точно бы поставили к стенке, тоже приводит Сталина в пример... Человеческая память не боится чужой пролитой крови. В людях очень силен животный инстинкт «само»... Самосохранения, самоспасения. Чужое ничему не учит. – Роман заглянул Марине в глаза. Но, вероятно, его что-то напугало в ее глазах. Он поспешно спросил: – С вами всё в порядке?

– Пойдемте отсюда. У меня кружится голова, – ответила Марина, убегая от его взгляда.

Лестница на башню в некоторых пролетах – очень узкая и крутая. Роман шел впереди, но постоянно оборачивался к Марине и подавал руку, чтобы легче сойти на площадку. Она протягивала ему свою руку. Но на последнем лестничном пролете он не нашел ее ладони. Марина отстала, отошла от лестницы, привалилась плечом к стене.

– Что с вами? Вам плохо?

– Да, – сквозь слезы отозвалась она. – Мне плохо. От высоты... Сейчас пройдет.

Она не смогла придушить в себе досаду. Губы дрожали. Горьким спазмом перехватило горло. Слезы обратили всё перед глазами в муть...

Роман боязливо приобнял Марину, заслоняя ее от идущих следом экскурсантов. Она плакала всё сильнее, слезнее.

– Всё образуется. Не нужно плакать, – успокаивал он.

– Я знаю... Я знаю. Я сама знаю. Не нужно. – Она плакала, что-то ответно бормотала на его утешительные слова и почти ничего перед собой не различала. – Сейчас пройдет. Это от высоты, – бормотала она, не отстраняясь от плеча Романа. – Это от высоты.

* * *

Следующая курортная неделя пролетела стремительно. Марина опаматоваться не могла, дважды в день *бегая* на свидания к Роману Каретникову.

Она не спрашивала себя: зачем? для чего? надо ли это? Она просто не могла сказать ему «нет». Он приглашал ее в дендрарий. И что? Она должна ответить ему отказом? Он купил два билета на кинокомедию. Почему она должна, как бука, фыркнуть и уйти прочь? Он устроил пешую экскурсию к источнику минеральной воды в горное ущелье. Там было очень красиво. Отказаться? Или дневная прогулка на катамаране в море; оттуда открывался такой вид на горы! А над палубой кружили чайки, которым туристы бросали печенье. Ведь без всяких глупостей, даже в кафе не заходили...

Так получалось, что каждое свободное окно в санаторном распорядке Марина отдавала ему, Роману Каретникову. Но всякий раз она уходила со свиданий, не рассусоливая и не оглядываясь. Подчеркивала свою независимость!

«Уходи. Уходи и не оглядывайся! – приказывала она себе. – Не надо давать ему ни малейшего повода... Ну, почему я заупрямилась? Сама заплатила за какое-то дурацкое мороженое? Денег и так нет...»

Всякий раз, идя на очередное свидание, она умышленно опаздывала на десять-пятнадцать минут. Начхать ей, что ее дожидается столичный богач! И наклеивала на лицо маску чрезмерного хладнокровия.

– Любаш, Люб, как ты думаешь: идти мне с ними в ресторан? У Прокопа Ивановича день рождения. Меня официально пригласили... А знаешь, чего ему Роман приготовил? Безалкогольного французского вина. Где-то раздобыл, в каком-то отеле. Наверно, дорогущее.

Марина ответа от соседки подозрительно не услышала.

– Любаш, ты чего молчишь? Обиделась на что-то?

Любаша опять отмолчалась, насупив брови.

– Ты чего? Чего нафыпилась-то? Люб, ну чего ты? – масляно приставала Марина. Она даже намеревалась молчунью пощекотать.

– Чё да чего? Завидую тебе! Вон к тебе как мужики-то льнут! У меня опять отпуск впустую проходит. А ведь надо бы, очень бы надо своему Витяне рога наставить. Ну пусть бы не оленьи, но маленькие, козлиные, надо бы! Чтоб к своей диспетчерше не клеился... Каждому мужику – надо бы! – Любаша резво захохотала. Комната и, казалось, весь санаторий наполнились веселым задором.

Любаша была из тех, для кого жизнь – как занятная игра. Повседневные хлопоты, разное неотъемное дерганье в быту – это как погода: «Хошь злись, хошь не злись – терпи», – выражалась она; но вот всё остальное – в радость, в охотку; когда проголодаешься, кусок черного подсолоненного хлеба с сочной луковицей съесть – самый смак! на праздник испечь лакомый пирог с черникой – пальчики оближешь! в субботний вечер после баньки с муженьком пропустить рюмку водки под помидорчики собственной засолки и отдохновенно отглядеть «Бриллиантовую руку» – хватаясь от смеха за живот! встретить случайно в аптеке бывшую одноклассницу и наговориться досыта – самое лучшее перевспоминать! отрез модного материала купить на новую юбку – юбка-то выйдет любо-дорого, на загляденье! – всё для таких – радость, во всем – прок и интерес. «Неча тут выёживаться! Это – не то, да то – не то! Всё – то! Живи да радуйся!» А ведь Любаша, дивилась на нее Марина, двоих сыновей родила на операционном столе, через кесарево... И жила в сельском поселке, поросенка держала, куриц...

– И неча тут выёживаться! – выпалила Любаша коронную фразу в ответ на колебания Марины. – Пойдешь! Само собой пойдешь, голубушка, на день рождения! Как миленькая! От такого мероприятия отказаться – надо совсем чокнутой быть. Они с такими-то деньжищами тебя не в закусочную-автомат ведут. В лучший тутошний ресторан. Со стриптизом!

– На афише написано: эротический балет.

– Это значит еще круче! Вроде групповухи! – рассмеялась Любаша.

– Ну тебя! – оскорбилась Марина. – Я еще не решила: пойду или нет. Правда, не решила.

– Верю! Верю, голубушка. Вижу! Сама всё вижу, как у тебя с этим богачом-то закружилось. Такие отношения в самую трясиину тянут. Вплоть до развода. По знаку Зодиака ты влюбчивая. Открытая. Сама понять не можешь, за кем бежать. В том-то и опасность.

– Любаша, перестань! У меня с ним ничего не было. Я побожиться могу. Он мне только руку подает, чтобы с лестницы сойти. Да один раз мои плечи своей курткой прикрыл.

– В том-то и беда. Если б он тебя сразу охомутил, – Любаша хватанула в охапку воздух, – тогда б и разговору не было. А этот, вишь, с подходом. С романтизмом. Для замужней бабы – самый липучий вариант.

– Никакой это не вариант! – еще сильнее взъершилась Марина. – У него есть жена. И сыну столько же, сколько моей Ленке!

– Где у него эти жена и сын? – язвительно приступила Любаша. – В Германии? А он в России с подушкой обнимается?

– Хватит, Люб! Всё! Не пойду я ни в какой ресторан! – отмахнулась Марина, отвернулась от соседки, в дополнительный противовес прибавила, уже подавленно, уныло: – Мне и надеть нечего. Одно платье выходное, да и то... Не хочу в нем.

– Ты, Марин, давай-ка мою кофточку примерь. Она из стрейча. Тебе в обтяжечку ляжет любо-дорого. – Любаша полезла в одежный шкаф. Марина недоверчиво оглянулась на нее. Кофточка и впрямь оказалась в пору и очень хороша: подчеркнула стройность Марины. И очень к лицу, с коричневыми разводами – к ее темным глазам, и к ореховому цвету волос подходит.

– Как для тебя шитая! – подбадривала Любаша. – Теперь на-ка вот. Примерь-ка туфли. Я их почти не нашивала. Каблуки высокие. Куда я, корова этакая, на таких каблучищах! Купила, а не ношу. Для форсу больше. А тебе самое то будет... Чё, не хлябают?

– Любаш, ты вправду и туфли мне даешь?

– Можешь еще и серёжки мои примерить!

«Ну и пусть! Ну и что! – кому-то мысленно твердила Марина. Она как будто оправдывалась за что-то, когда, суетливо и немного стыдясь своего нарядного отражения в зеркале, крутилась перед этим же зеркалом. – Ну и что! Могу я хоть здесь побыть женщиной?!»

12

Василь Палыч Каретников, еще в доперестроечные времена прозванный за глаза Барин, – не мелкого пошиба бизнесмен, основатель одного из крупных московских холдингов, любил, бывало, под рюмку коньяка порассказывать о своих купеческого племени предках. Без приукраски, без легенд, Каретниковы когда-то в России и впрямь преуспевали в лесоторговле. Но язык Василь Палыч развязал только в восьмидесятых, до сего времени помалкивал о родовом древе, ибо российский двадцатый век, искромсанный революциями, переворотами, междоусобицами и войнами с интервентами, оставался почти до своего скончания веком либо тайных, либо явных преследований – политических, классовых, религиозных, национальных.

В двадцатом же веке плотный род Каретниковых оскудел, истончал до прорех, поистребленный всё тем же российским жизнеустройством. Теперь фамилию Василь Палыча унаследовали лишь два его сына от разных браков – старший Вадим и младший Роман. У Вадима росло две дочери, – это тоже был косвенный ущерб и убыток роду и фамилии Каретниковых. У Романа рос сынишка Илюша, который помаленьку забывал русскую речь, живя с матерью в предместьях Гамбурга и учась в иноязычной школе с морским уклоном. «Илюша, я прошу тебя говорить со мной и с дедушкой только по-русски!» – строго требовал Роман, когда в телефонных разговорах сын автоматически вставлял немецкие словечки. Василь Палыч, несмотря на то, что «германского» единственного внука видел очень редко, любил его больше, чем «Вадимовых девок», и ко дню рождения Илюши, помимо купли подарков-безделушек, клал на его банковский счет солидные суммы.

Хотя и с первой, и со второй женой Василь Палыч жил одинаково непрочно, Роману отцового внимания и опеки досталось тоже поболее, чем старшему единокровному брату Вадиму. Правда, впоследствии Вадим, а не Роман стал отцу первым компаньоном в коммерческих делах и даже на этом поприще перешеголял Каретникова-старшего. Роман родовую торговую линию укрепить не мог, не имея к тому склонности. Поэтому отец, посоветовавшись с Вадимом, определил Роману издательскую нишу в холдинге. «Пуцай книжки печатает. Это дело тоже прибыльное. Госзаказом мы его обеспечим. Халявной бумагой тоже, – рассудил Василь Палыч, когда Роман вернулся из Германии, где учился в Гамбургской академии и писал диссертацию. «Да. Книжки – это по его части, – пренебрежительно поддакнул отцу Вадим. – Тем более на халявной бумаге. Он ведь у нас отличничек».

...В школе Рому Каретникова, отличника учебы, среди избранных торжественно принимали в пионеры на Красной площади, под стенами могучего ленинского надгробия – трибунного мавзолея. Отутюженный алый галстук, звенящий голос пионервожатой, хором – текст клятвы юного ленинца, лес детских рук, вскинутых под углом на головой, как знак преданности делу вождя... После церемонии – бесплатные сладкие пирожные и чай в антракте концерта в Большом Кремлевском дворце.

Пару дней спустя, Рому после уроков подкараулила и пригласила в учительскую Эмилия Аркадьевна, седовласая старушенция завуч, державшая всю школу в кулаке. Глядя на Рому сверлящими глазами, увеличенными толстыми линзами очков, она спросила с предварительной накруткой: «Роман, ты у нас гордость школы. Теперь ты пионер, давший клятву у мавзолея. Пионер не имеет права говорить неправду! Кто из вашего класса вчера на уроке физкультуры в раздевалке для мальчиков вырезал на панели нехорошее слово?»

«Я не... не знаю... Я не видел...» – заикаясь и чувствуя, что сердце стучит где-то в горле, произнес Рома.

«Ну что ж, допустим, ты не видел... – рассуждала Эмилия Аркадьевна. – Кто из ребят приходит в школу с перочинными ножами или другими режущими предметами?»

«Я не знаю...»

«Роман, ты не умеешь врать! Не должен врать! Ты пионер! Это сделал Зарубин?» – надела на него неумолимая завуч.

Рома не только боялся выдавать Зарубина, второгодника, задиру, предводителя мелкой школьной шпаны, но и произносить его имя без крайней нужды остерегался.

«Не бойся, Роман, о том, что ты мне скажешь, никто не узнает. Это был Зарубин?»

«Нет, это был Смирнов», – ответил Рома с пересохшим горлом.

«Не может быть! – вскрикнула Эмилия Аркадьевна. – Смирнов очень приличный мальчик!»

«Зарубин дал ему нож и... заставил вырезать...»

«Ах, вот как? Ну, это еще и лучше!» – чему-то обрадовалась Эмилия Аркадьевна.

На следующий день, после занятий, за школьными мастерскими, у забора Зарубин бил Смирнова на глазах у одноклассников, в том числе и Ромы Каретникова. В проучку.

«Наябедничал, козел? Заложил? – Зарубин держал одной рукой несчастного, безвинного хлюпика Смирнова за шкварник, а другой – наносил с короткого размаха несильные, но унижительные удары сбоку в челюсть. Челюсть у Смирнова болталась, как на шарнирах, рот был произвольно открыт, и с губ текли слюни. Время от времени Смирнов отрывисто и слезно выхныкивал своему палачу: «Я никому не говорил! Никому...»

Рома Каретников за Смирнова не вступился. Первая свинцовая туча собственного угрызения легла на его душу. Идя домой, он, раздухарившись от стыда предательства, стащил с шеи красный галстук: «Не надо мне такого пионерства!» Придя домой, отказался обедать и расплакался в голос у себя в комнате.

«Отлично! – воскликнул отец Василь Палыч, который по красным глазам сына почуял неполадки. – Чем раньше обожжешься, тем лучше! Рассказывай!»

Рома признался ему во всем, без утайки, кончив свою покаянную речь заверением:

«Папа, я никогда больше так не сделаю. Никогда!»

«Ваша завуч – хитрая старая лошадь! – злобно восхитился Василь Палыч. – Видать, на НКВД работала. Я с ней поговорю, чтобы она тебя больше не подставляла».

...Когда Роман учился в десятом выпускном классе, в пору сдачи последних школьных экзаменов, в министерство, в главк, которым управлял Василь Палыч, позвонили из Сокольниковского медвытрезвителя.

«Капитан Садаков, – представились. – Товарищ Каретников, тут ваш сын, мы его в парке Сокольники подобрали...»

«Отлично! – ухмыльнулся Василь Палыч, приехав в вытрезвитель и увидев на железной койке на клеёнчатой простыне голого, вдрызг пьяного, бесчувственного сына. – Надеюсь, никаких протоколов не составляли? – спросил он у милицейского капитана и тут же, не дожидаясь от него отчета, всучил капитану сумму денег, от которой капитан слегка опешил и не знал, что выговорить, как поступить; наконец быстренько утопил деньги в боковом кармане кителя.

Дома Роман долго-долго блевал, стонал, извивался на полу в ванной комнате и сквозь стон, боль, горечь уверял наблюдавшего за ним отца:

«Я больше не буду... Никогда!»

Оказалось, после экзамена они выпили с друзьями пива и поехали погулять в Сокольники. Здесь познакомились с какими-то парнями из Люберец, которые на спор решили выпить по стакану водки. Роман, охмелевший уже от пива, тоже ввязался.

«Пусть-пусть тебя пополощет! Водка-то, наверняка, сучок какой-нибудь... Такая здорово берет», – без осуждения, но и без жалости говорил Василь Палыч, наблюдая за корчами сына. Когда Роман протрезвел, отец ему заметил:

«Полный стакан водки может поднести только враг».

«Я больше никогда не буду пить водку. Обещаю, папа, никогда!»

...Студентом третьего курса исторического факультета МГУ Роман приехал в загородный дом к отцу. (В ту пору Василь Палыч жил уже холостяком.) Роман приехал понурый, повинно утыкая взгляд в землю.

«Папа, дай мне, пожалуйста, денег... На свадьбу. Мне придется жениться. Она беременна... Я потом заработаю, верну тебе... Мы вместе с Гулией заработаем...»

«Отлично! – традиционно воскликнул Василь Палыч. – То, что ей нужна московская прописка и жилье, я понял сразу. Но она еще какая-то нерусь! Кто она?»

«Из Алма-Аты... Продавец в кафе у заправочной. На Каширке...»

На другой день на Каширском шоссе против дверей маленькой забегаловки возле одной из заправочных станций остановилась черная «Волга» с правительственными номерами и милицейский «уазик». Из «Волги» выбрались Каретников-старший и громоздкий, тучный полковник милиции – «Михалыч». Из «уазика» – двое рослых милиционеров с автоматами в руках.

«Где у вас тут главный?» – громогласно спросил Василь Палыч, став посреди небольшого кафешного зала и оборотясь в сторону кухни.

Из боковой дверки возле стойки бара выскочил парень казахского кроя, испуганно взглянул на полковника, на автоматы в руках милиционеров, на человека, который требовал начальство.

«Я... Я директор».

«Как тебя звать, директор?» – спросил Василь Палыч.

«Азамат».

«Где у вас Гулия?»

«Вон. У стойки».

«Это вон та – узкоглазая?»

«Да».

«Ты спал с ней?» – Василь Палыч взыскующе, без дурковатости, глядел в черные глаза Азамата.

«Тебя русским языком спрашивают: ты спал с ней?» – вступил в разговор полковник Михалыч; двое милиционеров с оружием, которые теснее взяли Азамата в кольцо, как будто молча, угрожливо повторили вопрос.

«Да... Зачем вам?»

«Михалыч, ты разберись с директором. Чем он здесь промышляет? Не коноплей ли?» – обратился к полковнику Василь Палыч, а сам пошагал к указанной девушке азиатского замеса, стройной и по-восточному, вероятно, миленькой: губастенькой, с гладкими смуглокожими щеками, со смоляными крупными волнистыми волосами, уложенными в толстую косу на затылке.

«Я отец Романа. Отойдем-ка сюда», – сказал Василь Палыч и кивнул в сторону помещения, подсобки, где вдоль стен громоздились картонные ящики.

Как только они вошли в закуток, Василь Палыч схватил Гулию за волосы, за толстую сплетенную косу, рванул вниз, чтобы задрать лицо девушки.

«Не смей орать, сука! От кого ты беременна?»

«Не знаю. От Ромы, от него...»

«На каком месяце?»

«Не знаю. На третьем. Может, меньше...»

Она шипела; сдавленные звуки хрипло вырывались из согнутого горла. Наконец Василь Палыч отпустил ее косу, выкрикнул в зал:

«Михалыч, приведи сюда директора!»

«Так вот, Азамат, сегодня же отвезешь свою шалаву на аборт! Через неделю чтобы духу ее в Москве не было! Ясно?»

«Ясно».

«Через неделю мы с Михалычем проверим...»

Вечером того же дня Василь Палыч позвонил сыну:

«Завтра ты вылетаешь в Болгарию. В международный студенческий лагерь. В университете я обо всем договорился... Триппер там не подхвати!»

«Что?» – выкрикнул Роман в трубку.

«Да, да! То, что слышал! Эх, Ромка, счастливый ты и несчастный... С твоим добрым характером и с твоим видом будут к тебе бабы лхнуть, как осы к меду... Всех сразу предупреди, что живешь в общежитии, что отец у тебя слесарь тульского колхоза «Заветы Ильича», мать – учетчица свинофермы. В Москве жилья нет и не предвидится...»

«Папа, это случайность».

«Запомни, сынок. Не дерьмо льнет к ботинкам, а человек ступает ботинком в дерьмо!»

* * *

Эти три урока из своей биографии среди прочих краеугольных уроков Роман Каретников запомнил больше всего. Про школьный случай с «энкавэдэшницей» Эмилией Аркадьевной и бедолагой Смирновым он никому не рассказывал, знал, что пожизненно будет стыдиться, и стыдную правду переживал в одиночку. Помалкивал Роман и про третий урок, про невесту Гулию, которая пленила его однажды на дискотеке экзотикой и восточным шармом толстого лица, а потом и гладкими, манкими бедрами... Чего об этом распространяться? Каждому через что-то такое пришлось перешагнуть. Не невидаль!

Вот про «пьяный» урок он вспоминал без горчины, не стесняясь, даже наоборот – с веселостью.

Роман сейчас и поведал историю со злополучным стаканом водки, выпитым на спор в Сокольническом парке, – шутливо, в красноречивых деталях. Поведал Марине и Прокопу Ивановичу. Они сидели в ресторане...

В таком ресторане Марина очутилась впервые. Черная бабочка метрдотеля, серебро ножей и вилок, снежная накрахмаленность салфеток из набивного льна, зеркальные пирамидки подвесных потолков – весь антураж говорил о значимой категории данного заведения.

Марина растерялась и поначалу даже не поняла, что от нее хотят, когда официант, длинный тощий парень с тонким горбатым носом и мелкими черными усами, учтиво склонился к ней и протянул пухлую папку с золотыми вензелями. Оказалось – меню, многостраничное, с непонятными блюдами, напитками, десертами, на двух языках – русском и английском, с дикими расценками. В первые минуты Марине и вовсе было очень беспокоино, она как будто очутилась на сцене. В кофточке Любаши, плотной, в обтяжку, казалось, живот слишком сильно выступает; туфли тоже Любашины, чуть великоваты: на таком высоком каблуке – как бы не грохнуться; еще вилку и нож надо правильно держать, не ошибиться, что для чего, а то как манюня деревенская... Да еще эти кавказцы, в каждом черном бородаче мнятся *те сволочи*; благо столики в ресторане имели некую автономность: каждую компанию разделяла полупрозрачная перегородка из рифленого стекла.

Только спустя час, когда на эстраду с цветной рампой вышли музыканты и зал ненавязчиво наполнился ровной джазовой музыкой, когда напыщенность сервировки слегка поубавилась от притронутости к столу, когда первые тосты в честь именинника были сказаны и легкий хмель от шампанского приобмягчил все окружающее, от Марины ушло сосредоточение на самой себе, она не приклеенно, от души улыбалась; двое образованных, воспитанных мужчин

окружали ее вниманием, хотели услужить ей во всем, галантно шутили; ей было с ними приятно и безоглядно легко: «Могу я хоть здесь побыть женщиной?!»

... – Да, вот такое однажды случилось. Но с тех пор я ни разу водку не пил. Собственно-ручно наложил на себя епитимью. Столько лет прошло! Ни разу больше не пробовал, где бы ни находился, – не без гордости досказал Роман свою водочную историю. Взялся за бутылку с шампанским, чтобы подновить вино в бокале Марины.

– А если бы я сейчас попросила вас выпить водки? – вдруг подкинула Марина, затаив в прищуре хитроватый взгляд на Романа.

– Слабо, батенька? – подпел Прокоп Иванович, от удовольствия хватая лохмы своей бороды.

«А если бы я сейчас попросила вас выпить водки?» Эти слова будто бы эхом отдались в фужерах на столе. Повисла игривая и в то же время решительная пауза. «А если бы я сейчас попросила вас выпить водки?» – Марина ведь произнесла это почти в шутку, после рассказа Романа о сокольническом споре. Теперь, в расщелине застольной тишины, Марина испугалась: вдруг он сейчас и в самом деле вздумает пить водку? Но и на попятную сразу идти не хотелось: надо подождать.

Роман сидел неподвижно, на лице у него застыла улыбка удивления. Наверное, он что-то взвешивал, выбирал... Он поднял глаза на Марину, потом посмотрел на Прокопа Ивановича, который, зажав в кулаке свою бороду, с нетерпением ждал разрешения нового спора. Потом Роман снова перевел глаза на Марину, которая от волнения сдерживала дыхание.

– Конечно. Я даже и раздумывать не хочу. Если вы хотите. Сам зарок дал, сам и отменю...

Марина уже потом, как-то запоздало почувствовала, что он положил ей свою руку на ее руку и повторил серьезно, без колебаний:

– Конечно! Я это непременно сделаю... Официант! – Роман обернулся в зал.

– Нет, умоляю вас, не надо! Если вы так сделаете, я уйду! – Ее голос задрожал. – Я пошутила. Я виновата. Роман, не надо водки! – Она даже вскочила со стула. Что-то приказное, словно обращенное к близкому человеку, которого смела одергивать, звучало в ее голосе. В голосе вместе с тем умоляющим, покаянным.

Официант поспевал к столу. Обстановку разрядил Прокоп Иванович.

– Попозже, дружок, – кивнул он горбоносому официанту, сбив его с темпа, и тут же возликовал над столом: – Bravo! – Он захлопал в ладоши. – Bravo! И подвиг, и преступление начинаются с женского каприза. Вот она, материальная субстанция чувства! – То ли умышленно, дабы отвести Романа от губительного соблазна и заговорить, замести своей говорильней Марино подстрекательство, то ли вправду допуская, что чувства могут нести какую-то материю, Прокоп Иванович взял инициативу застолья на себя, начал рассказывать о рукописи «Закона сохранения любви».

Прокоп Иванович говорил в общем-то сам для себя. Марина и не понимала его, и не слушала. Ей казалось, что и Роман не слушает юбиляра; ей даже показалось, что они с Романом сейчас за столом вдвоем. И он, и она только что пережили что-то такое, от чего и страшно, и сладко. Что никогда не забудется.

Она посмотрела ему в глаза и хотела попросить прощения за сумасбродство. Но тут во всем зале одновременно погас свет. Марина от неожиданности негромко вскрикнула. Шелест ахов прокатился по ресторану. А через две-три секунды свет хлынул из фонарей рамп и с потолка над эстрадой. Загремела ритмичная музыка. На середину зала, разряженная под бледнолицых папуасок, выбежала стайка полуголых длинноногих танцовщиц варьете с фонарями размалеванных глаз и улыбками до ушей. Суматоха обнаженных, высоко задираемых ног, вскидываемых рук, пестрых нарядов, электрических радуг подсветки, – говорить под такую феерию было бессмысленно. Ресторанный зал на время стал – зрительным. Марина с опаской погля-

дывала на Романа, ей все еще хотелось ему что-то объяснить, повиниться, но громобойная музыка не давала ей слова...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.